

Антокольскій.

МЕФИСТОФЕЛЬ.

1915 г. Пробужденіе № 6-й

15-го Марта 1915 г.

Мне раба она обманется
там зам
им. Грина

Что красота?

И мраморъ чертъ, и гибкость линий,
И кожи розовой атласъ,
И ночь очей, иль цвѣтъ ихъ синій
Манять и восхищаютъ насъ.

Но мысли радужныхъ движенья,
Бездонность ихъ, ихъ высота,
Ихъ трепетанье, отраженье
Въ чертахъ лица—вотъ красота!

И надъ ея святымъ сверканьемъ
Въ извилахъ устъ, въ глубинахъ глазъ
Безильны бѣды увяданья,
Не властенъ разрушитель часъ!

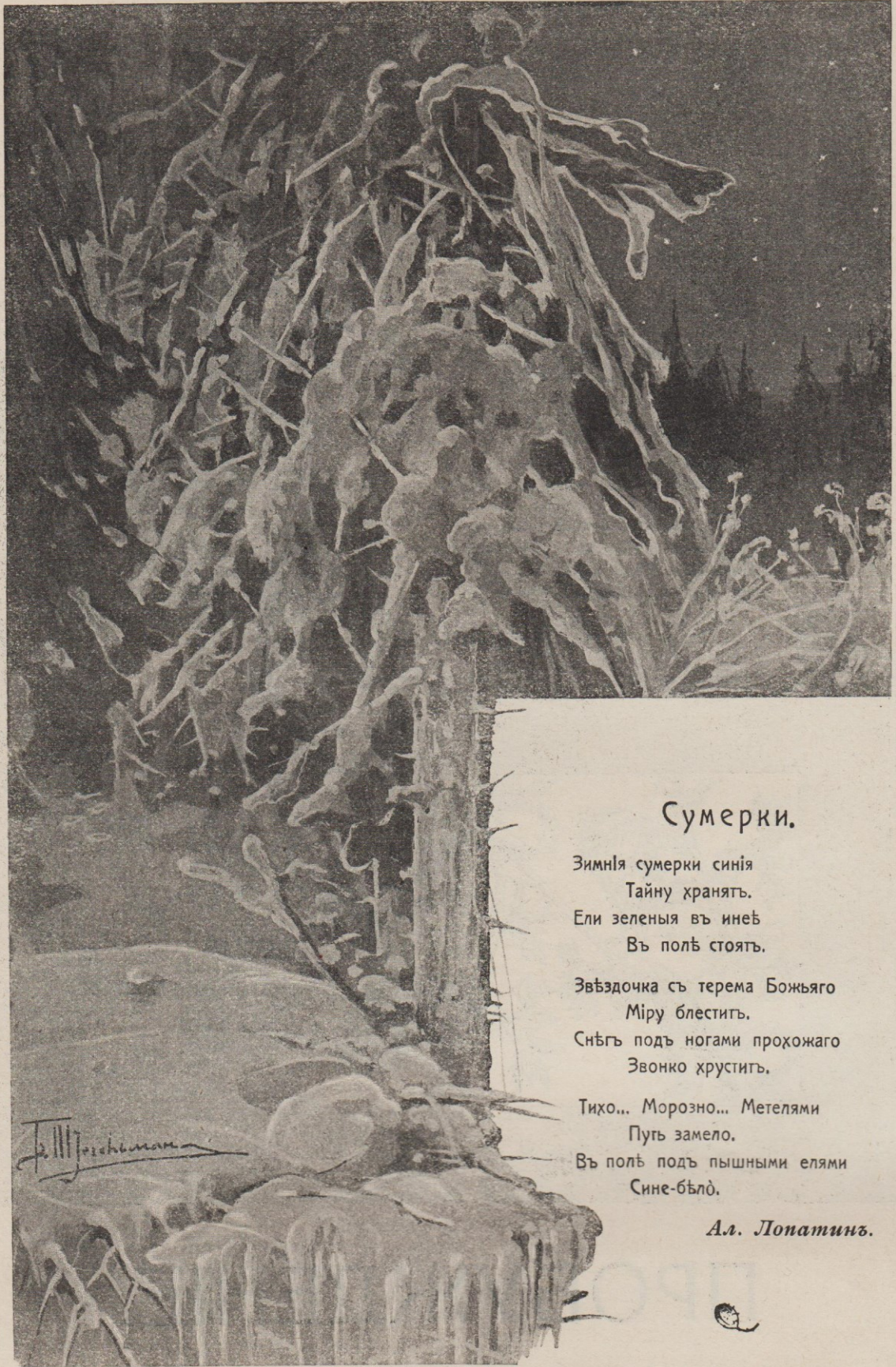
И. Гриневская.



ПРОБУЖДЕНИЕ.

Годъ 10-й.

Выпускъ 6-й.



Т. М. Лопатинъ

Сумерки.

Зимнія сумерки синія
Тайну храняць.
Ели зеленыя въ инеѣ
Въ полѣ стоятъ.

Звѣздочка съ берега Божьяго
Міру блестить.
Снѣгъ подъ ногами прохожаго
Звонко хруститъ.

Тихо... Морозно... Метелями
Путь замело.
Въ полѣ подъ пышными елями
Сине-бѣло.

Ал. Лопатинъ.





Лунный свѣтъ.

Разсказъ А. Серафимовича.

Что поражало ее, когда она оглядывалась назадъ, это—музыкальность въ ея жизни. Не то чтобы она много играла или особенно часто посѣщала концерты, оперы, нѣтъ, но особенная музыкальность, молчаливая, музыкальность событій, особенный ритмъ, смѣна горя, радости, заботъ, отдыха.

У каждого человѣка это—безпорядочно, у нея—ритмично, точно кто-то у нея за спиной велъ мелодію, и проходили дни и годы, какъ проходить звуча рисунокъ пѣсни, прерываемый тактами и молчаніемъ.

И началось вовсе не тогда, когда она родилась или когда стала помнить себя въ дѣтствѣ, а съ концерта въ дворянскомъ собраніи вскорѣ по окончаніи института.

Какъ всегда, огромная съ колоннами зала была залита свѣтомъ, всюду красивыя женскія лица, плечи, руки, сіяющіе глаза, чернѣютъ фраки, сюртуки, а на огромной пустой и тоже залитой огнями эстрадѣ блеститъ чернымъ блескомъ, еще не открытый, пока молчаливый, рояль.

Въ сдержанномъ говорѣ, шурша шелкомъ и мягкими бальными туфельками, занимала мѣста и разсаживалась публика, и эти безчисленные лица, глаза, прически, открытыя плечи, подобно страннымъ, разбросаннымъ, независимо другъ отъ друга всплывающимъ звукамъ настраиваемаго оркестра, ничѣмъ не были объединены.

Потомъ раззѣлись, и наступило короткое молчаніе. А когда на эстраду вышла пѣвица въ сверкающемъ отдѣлкой платьѣ и аккомпаниаторъ во фракѣ, вдругъ разомъ по всѣмъ пробѣжало напряженіе, и всѣ лица и всѣ глаза одинаково обернулись къ эстрадѣ.

Соня тоже слушала, внимательно глядя на открывавшійся и закрывавшійся ротъ пѣвицы. Потомъ вышелъ виолончелистъ, поставилъ виолончель между колѣнъ, и она стала пѣть.

Потомъ вышелъ пианистъ, нервный, длиннорукой и длинноносый, и вотъ тутъ-то и началось. Съ первыми и бѣглыми торопливо-кудрявыми звуками рояля, ее охватила такая радость, такая свѣтлая смѣющаяся радость, что она не знала, куда дѣвать свое зардѣвшееся лицо. Пианистъ игралъ моцартовскую граціозную вещицу: «gondo alla tige». Торопливые, затѣйливые, странно сплетавшіеся, какъ кружево, бѣжали по залу звуки. И было въ нихъ что-то бѣгущее, на секунду спутывающееся и сейчасъ же снова, невѣдомо куда, торопливо—едва успѣваетъ ухо—бѣгущее. Отчего же радость? отчего же сердце смѣется?

Она не знала и оглядѣла сіяющими глазами безчисленное множество лицъ, причесокъ, платьевъ. И какъ дальше ни пѣли, ни играли на эстрадѣ, въ сердцѣ одно только звучало: «gondo».

Въ антрактѣ послѣ апплодисментовъ, послѣ поднявшагося шума и движенія, публика наполовину разошлась въ фойе, такъ же напряженно все заливало электричество, а въ сердцѣ у Сони все такъ же звучало «gondo».

Подняла глаза и увидѣла—пробирается среди стульевъ, среди дамъ и мужчинъ черный, стройный сюртукъ,—у нея забилось сердце.

— А я все время смотрѣлъ въ концертѣ, вы или нѣтъ,—говорилъ Сергѣй Николаевичъ, подходя и цѣлуя руку.

Лобъ у него бѣлый и правильный, а волосы мягкіе, пепельные.

— Вы гдѣ же сидите?—сказала Соня, ласково улыбаясь, и въ глазахъ у нея свѣтились точки.

— Я съ того края. Знаете что, я сейчасъ похлопочу, не уступитъ ли вашъ сосѣдъ мѣсто. Ему на моемъ будетъ даже удобнѣе.

Сосѣдъ уступилъ, и Сергѣй Николаевичъ сѣлъ съ Соней. И что ни играли и какъ ни играли на эстрадѣ, у Сони, не умирая, ни на минуту не замолкая, звучало кружевное gondo: «милый... милый!».

Говорили о пустякахъ, перехватывали взгляды другъ друга, сидѣли близко, касаясь другъ друга, и все звучало «gondo alla turc».

— Мнѣ съ вами нужно переговорить, Софья Никандровна,— мнѣ нужно... это вопросъ жизни для меня.

«Ахъ, такъ вотъ что!.. такъ вотъ почему все музыка, и лица, и движенія, и говоръ, и этотъ заливающій все свѣтъ... Какъ просто и... Господи, отчего такъ радостно?..»

Въ послѣднемъ антрактѣ они сидѣли женихъ и невеста, и онъ говорилъ:

— У всѣхъ, когда счастье начинается, оно кажется необычайнымъ и какъ будто никогда не кончится, а тамъ не пройдетъ двухъ, трехъ лѣтъ, смотришь—уже началось. У насъ, дорогая, не будетъ этого. Я жить не стану, если по моей винѣ въ нашу жизнь ворвутся обычныя дразги. Повѣрь мнѣ, дорогая.

Ея глаза сказали благодарно:

— «Вѣрю, милый».

А вслухъ она сказала:

— Ты въ первомъ отдѣленіи слышалъ «Rondo alla turc» Моцарта?

— Кажется, слышалъ,—говорилъ онъ, тайно восхищаясь ея лицомъ, тѣмъ, какъ лежатъ волосы, какъ она сидитъ въ польборота...

— А у меня все время, понимаешь... вотъ и ты—«gondo»...

Оба смѣялись молодымъ, заразительнымъ, свѣтлымъ смѣхомъ.

На эстраду стали входить музыканты—скрипки, кларнеты, тромбоны, виолончели, грузно забрался турецкій барабанъ, протиснулась тоненькая флейта. И неровно, то повизгивая, то подвывая, разбросанно и безъ всякой связи другъ съ другомъ, каждый свое, стали настраиваться инструменты.

И такъ же разбросанно, такъ же оторванно другъ отъ друга наполнила публика залъ съ разнообразными лицами, глазами, выраженіемъ. Дирижеръ поднялъ палочку, на секунду все смолкло, какъ въ первый разъ, лица, глаза потянулись къ эстрадѣ, все вдругъ чѣмъ-то объединенное, а съ эстрады поползли странные скрежещущіе звуки.

Соня бѣгло и испуганно глянула на Сергѣя Николаевича,—онъ сидѣлъ, наклонивъ голову.

А оркестръ рассказывалъ о чемъ-то, чего словами не передашь. Кто-то задыхался въ предсмертной тоскѣ, и что-то костлявое, стуча

костями, возилось около, скрежеща и повизгивая. Потомъ началась необузданная пляска. Слышно, какъ хлопаютъ въ сочлененіяхъ пустыя кости, какъ бьются онѣ, сталкиваясь другъ съ другомъ, и рѣжетъ душу нечеловѣческое повизгиваніе, злобно-радостное скрежетаніе.

Соня судорожно схватила программу—«Danse macabre»—«Пляска смерти» Сэнь-Санса, и уже не звучитъ, потухло gondo.

Но, когда кончился концертъ, и Соня шла подъ руку съ Сергѣемъ Николаевичемъ, gondo звучало радостно и побѣдно кругомъ—и въ безумно расточительной яркости электрическихъ фонарей, льющихъ свѣтъ витринъ, въ мелькающихъ золотыми глазами автомобиляхъ, въ этомъ шорохѣ и шелестѣ нескончаемо двигающейся въ обѣ стороны толпы, и въ весеннемъ небѣ, которое невидно было, но чуялось надъ огромнымъ возбужденно шумящимъ городомъ.

Вотъ съ этихъ поръ жизнь Сони приобрѣла странную музыкальность, и то весело и радостно звучало «Rondo», то растерянно жалобно и врозь настраивались въ душѣ разстроившіяся струны, то мертвымъ обликомъ траурно и зловѣще чудилась «Danse macabre», но сейчасъ же тухла и смолкала, потому что жизнь была молода и прекрасна, и «gondo» звучало, въ концѣ концовъ все покрывая.

Конечно, и въ жизни Сони и Сергѣя Николаевича бывали недоразумѣнія, приходили сѣмерки, случались неудачи, но здоровое, что было въ нихъ обоихъ, одолѣвало, и, какъ настроившійся оркестръ, снова звучала широкая мелодія жизни.

И со страхомъ и радостно ждали перваго ребенка.

Тихое, ласковое и въ то же время какая-то углубленность легла на лицо Сони. Свое у нея было, важность таинства, которымъ она, если-бъ и хотѣла, не могла подѣлиться.

— Сережа, какъ это несправедливо—все на женщину, страданія, такія страданія... и... и я боюсь умереть,—она заплакала.

Онѣ бросился къ ней. Онѣ расточалъ, какъ умѣлъ, ей слова утѣшенія, ласки и любви. А она уже улыбалась сквозь слезы.

— Странно, милый: радость такая, жизнь новая идетъ, а рядомъ, тутъ же рядомъ смерть бѣлѣетъ—не забывайте, моль.

И когда она билась въ мукахъ, а онѣ метался въ сосѣдней комнатѣ съ блуждающими глазами, вдругъ среди собственнаго чудовищнаго крика ей почудился скрежещущій визгъ «Danse macabre», а въ слѣдующее мгновеніе она услышала крикъ ребенка, и съ этихъ поръ gondo уже не прерывало своей удивительной мелодіи.

Дѣвочка вошла въ ихъ жизнь. А черезъ два года мальчикъ родился. И стала жизнь ихъ полной.

Ребятишки росли, и это нарастающее сознаніе приносило счастье.

— Знаешь, милый, я постоянно слышала—дѣти цвѣты жизни, и такой это фразой мнѣ казалось, дѣти это что-то прозаическое, полное мелочныхъ заботъ, просто смѣшно казалось, а теперь—точно глаза открылись. Боже мой, какъ я могла иначе думать!

Прошло еще три года. Дѣвочка уже какъ-то сама съ полусловъ стала читать, а бутузъ съ оттопыренными красными щеками разъѣзжалъ по комнатамъ верхомъ на палочкѣ.

Какъ-то разъ Соня сказала:

— Милый, я боюсь.

— Чего?

Она помолчала, глядя въ окно.

— Сама не знаю. Только... какое-то странное состояніе. Въ

ухъ все звучить, все сверлить мотивъ, и никакъ не схватить. Вотъ и опять упустила. Вертится, и никакъ не схватишь...

И вдругъ поблѣднѣла и откинулась къ стѣнѣ:

— Ай!!

— Что ты?!

— Вспо-мни-ла...

— Что за глупости!.. будетъ...

А она прошептала:

— Помнишь... въ концертѣ... оркестръ... мнѣ страшно...

Онъ нахмурился.

— Дѣти здоровы?

И ушелъ...

Черезъ недѣлю грянула война. Сергѣя Николаевича торопливо собирали въ армію. У Сони были сухіе, горячечно-блестящіе глаза, и, стиснувъ зубы, безъ жалобы, безъ стона, она дѣлала все, чтобы не забыть, не упустить ни одной мелочи для мужа.

Когда уѣхалъ Сергѣй Николаевичъ, потянулась странная жизнь: такъ же надо было вставать утромъ, одѣвать и кормить дѣтей, идти съ ними гулять, проводить съ ними день, надо было такъ жить съ ними, какъ будто ничего не случилось, и Софья Никандровна такъ и жила. Зато ночью приходило свое, и она цѣликомъ отдавалась ему: не раздѣваясь, садилась на постель и часами глядѣла въ темноту сухими, горячечно-блестящими глазами, и только подъ утро задремывала немного, прислонившись головой къ стѣнкѣ кровати.

Огромнымъ усиліемъ воли она заставила себя не просматривать списки убитыхъ и жила отъ письма до письма, которыя Сергѣй Николаевичъ присылалъ довольно аккуратно.

Внутри ея точно окаменѣло, и только одно приказательно заставляло ее ходить, разговаривать, дѣлать—дѣти. И еще гдѣ-то отдаленно, слабо, какъ намекъ, звучало gondo. Странно!

И вдругъ все лопнуло, какъ разскачившаяся со звономъ струна—письма оборвались. Проходили недѣля за недѣлей, мѣсяць за мѣсяцемъ—ничего. Полетѣли телеграммы, запросы—ничего. Трясущимися руками бросилась Софья Никандровна рыться въ ворохахъ газетъ и сквозь заливающія глаза слезы стала просматривать списки убитыхъ. Сергѣя тамъ не было. Такъ потянулись дни, полные безумной тоски, вспыхивающей и гаснущей надежды. И странно, зловѣще чудилось, все будто настраиваетъ инструменты оркестръ, и вотъ, вотъ молчаливо заскрежещетъ странная пляска...

Какъ-то раздался звонокъ, и Софья Никандровна вздрогнула. Нянька пошла отпереть и вскрикнула въ передней. Софья Никандровна бросилась бѣлая, какъ стѣна—на порогѣ стоялъ Сергѣй Николаевичъ, улыбающійся, спокойный. За нимъ выглядывалъ денщикъ. Софья Никандровна бросилась къ нему и истерически забила на его рукахъ.

А онъ съ удивленіемъ смотрѣлъ на нее и только спросилъ:

— Какъ дѣти?

— Ты совсѣмъ или на время?

— Совсѣмъ.

Софья Никандровна бережно отстранилась:

— Милый, какая же я глупая—я все тебя обнимаю. Я тебѣ не сдѣлала больно? куда ты раненъ?

Онъ странно усмѣхнулся и пошелъ въ дѣтскую.

Дѣтишки, румяныя, съ сіяющими глазами, шумно встрѣтили его еще въ постелькахъ.

— Папка! папка! папка!.. Ахъ ты, папка, какой—обѣщаль черезъ два дня пріѣхать, а самъ сколько проѣздилъ.

Не выпуская дѣтишекъ, онъ провелъ съ ними цѣлый день.

И опять потянулась прежняя счастливая жизнь, только на службу онъ не ходилъ, а проводилъ все время дома.

Софья Никандровна была счастлива, но за счастливымъ сіяющимъ лицомъ постоянно жилъ тревожный, полный какого-то необнаруженного ужаса вопросъ: почему его отпустили, разъ онъ не раненъ. Почему? въ чемъ тутъ дѣло?

Но жгучій вопросъ не шель съ языка. Сергѣй Николаевичъ спокойно жилъ, никогда ни однимъ словомъ не рассказывая о своей жизни тамъ на смертныхъ поляхъ, и было у него такое лицо, что она не смѣла спрашивать и мучилась.

Разъ онъ сказалъ:

— Не оставляй меня, когда лунныя ночи...

Она задрожала и не отходила отъ него ни на шагъ и иногда слышала, какъ онъ, входя въ лунную полосу и глядя въ окно, бормоталъ самъ себѣ:

— Сила ихъ... плывутъ... наплываютъ... толкай, толкай!.. ага, не хочешь?!.. нѣтъ, лѣзь, лѣзь, лѣзь!..

Она въ смертельномъ ужасѣ охватывала его голову и, задыхаясь, шептала:

— Перестань, перестань!.. родной... не надо!.. не надо!..

Онъ успокаивался.

Надъ площадью стояла большая ясная луна. Площадь загроздила уступами огромная тѣнь отъ собора. Тѣни отъ домовъ лежали острыя, и всѣ перекошились въ одну сторону, а съ другой стороны дома стояли ослѣпительно-бѣлые.

Сергѣй Николаевичъ подошелъ къ окну, прижался лбомъ къ стеклу и нѣкоторое время смотрѣлъ на крыши, блестящія отъ луннаго свѣта, какъ влажныя.

Потомъ сказалъ:

— Слушай, не тамъ ужасъ, гдѣ рвутся снаряды, стонуть раненыя, кровь, разорванное тѣло...

Она бросилась къ нему, зажала ротъ ему поцѣлуемъ:

— Не надо... не надо... не надо, милый!.. постой, не надо!..

— Тамъ нестрашно!.. — завизжалъ онъ тонкимъ, непохожимъ на его голосомъ, и дико разнеслось по спящимъ комнатамъ,—нестрашно! никто не боится... некогда бояться... никто не боится...

Софья Никандровна горько плакала, закрывъ лицо руками. А онъ посмотрѣлъ на нее спокойно съ удивленіемъ и сказалъ:

— Чего плакать? ты думаешь, я боленъ,—нѣтъ. Я ничего не рассказывалъ... Не хотѣлось, пусть сзади осталось... Видишь, тамъ что ни было, а одно все покрыло. Странно какъ будто, а такъ. Оно молчаливое... Пойдемъ въ дѣтскую.

Она запнулась.

— Н...нѣтъ, не надо... Сядемъ рядомъ въ комнатѣ, оттуда слышно дѣтей.

— Ну, что же, пожалуй,—сказалъ онъ задумчиво, и они перешли въ комнату рядомъ съ дѣтской.

— Въ лунныя ночи я начинаю жить прошлымъ. Я не хочу, а

меня тащить туда въ черный омутъ... вода черная... и все плывуть...
Не плачь!..

Посидѣли молча.

— Когда въ бою былъ—ничего. Потомъ въ сторонѣ отъ позицій дали мостъ охранять. Никого. Лѣсная рѣчка дѣлаетъ поворотъ выше, и поворотъ ниже моста. У меня рота. Стоимъ недѣлю, другую, третью, —нѣмая тишина. Бой ушелъ куда-то впередъ и вправо. Мы одни. Солдаты землянокъ себѣ понастроили, я въ сторожкѣ помѣстился. Скучно. Согрѣеть денщикъ чаю, попьешь чайку, выйдешь, походишь, нечего дѣлать. Кругомъ вѣковой лѣсъ. Хмуря сосны темной ратью стоятъ. Берега обрывисты, осыпающіяся, и подмытые корни, какъ змѣи, свисли... Да. Пришла разъ ночь, а ночи лунныя. Подымается луна, рѣчка блеститъ, лѣсъ стѣной. Отъ него черная, густая тѣнь. Небо надъ нимъ чистое, ясное, холодное. Выйдешь изъ сторожки, лѣсъ чернѣетъ, на обоихъ концахъ часовые. Подойдешь:

— Кто идетъ?

Хоть видишь и знаешь кто, а окликнуть обязанъ. Пройдешь по мосту, провѣришь секреты на той сторонѣ, и назадъ. И иногда сяду на перила и смѣрю, какъ рябить на серединѣ рѣчки торопливая золотая рябь. Тихо и надъ рѣчкой, и надъ лѣсомъ. Слышно только, моетъ черная вода столбы подъ мостомъ. Иногда засидишься и забудешься. Кажется, никакой войны нѣтъ, ничего этого нѣтъ, а будто вышелъ въ садъ—помнишь, какъ жили въ имѣннй у вашихъ, большой былъ садъ, и мельница,—вышелъ будто въ садъ, и луна стоитъ надъ деревьями, а за деревьями окно будто свѣтится, а за окномъ будто ты, дѣти... Качнешься, откроешь шире глаза—рѣчка блеститъ, сосны черно стоятъ, и луна передвинулась... И полетешься въ сторожку... плетешься, плетешься, плетешься, все шире, длиннѣй, рукавъ спускается, и все блеститъ, и нѣту конца... Ты чего смѣешься?.. плачешь?.. отчего лобъ холодный?.. Нѣтъ... постой... погоди... трудно дышать...

Онъ отираетъ холодныя капли съ смертельно блѣднаго лба, а она схватываетъ его, прижимаетъ, какъ ребенка, и, трясясь, какъ въ лихорадкѣ, говоритъ съ глазами, полными ужаса:

— Не надо... не надо... перестань... успокойся... успокойся, Бога ради... лягъ, прилягъ хоть на минуточку...

Его блуждающіе глаза проясняются. Онъ легонько отстраняетъ ее.

— Да нѣтъ же, ничего. Что ты!.. Ну да, такъ на чемъ я остановился? Ну, вотъ такъ и шло время. Скука. Попрежнему никто насъ не тревожить, да и не слышать никого, сидимъ въ лѣсу одни, и все. Разъ прибѣгаетъ солдатъ. Я сажу въ потемкахъ, свѣчи не зажигаю, полоса луннаго свѣта только тянется въ окошко. Глянулъ, у солдата зеленое лицо... вмѣсто глазъ черныя ямы, а лицо зеленое...

Софья Никандровна опять неудержимо стала дрожать мелкой дрожью озноба.

— ...это, думаю, отъ луннаго свѣта. А онъ стоитъ, глядитъ на меня ямами.—Ты чего?—Молчить, а лицо зеленое и вмѣсто глазъ ямы.—Чего тебѣ, говорю?—Такъ что, ваше благородіе, плывуть.— Кто плыветъ?—Они. Я схватилъ саблю, револьверъ и бросился вонъ. Тишина, все запятнано лунными тѣнями, лѣсъ точно отодвинулся, стоитъ черной стѣной. Подбѣгаю къ мосту,—тихо, чернѣютъ часовые, блеститъ лунная полоса на рѣкѣ, и тихо моетъ вода подъ мостомъ.



Циркель.

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!
(Неожиданное возвращение).

Солдаты кучкой собрались у периль, смотря, а лица зеленые и ямы на лицах... От луны, должно быть?—спросил он и засмѣялся.

Софья Никандровна дрожала, кутаясь. Лунная полоса особенно рѣзко тянулась изъ окна, ложилась на полъ, и въ ней отчетливо выступали квадраты паркета, потомъ ломалась на креслѣ и терялась въ углу въ темнотѣ подъ цвѣтами, которые казались черными.

— Подхожу: что такое, ребята?—Такъ что плывутъ,—и смотря на воду. Смотрю я, ничего нѣтъ: блеститъ въ лунной полосѣ вода, вспыхиваютъ искорки, тухнуть, а у самаго моста вода черная, какъ провалъ.—Да гдѣ, говорю? А самъ ужъ вижу, вижу въ лунной полосѣ пятно засинѣло, то спрячется въ воду, то опять. Лунная вода рябитъ, и все не поймашь глазомъ отчетливо. Только оно ближе и ближе къ мосту, колышется, смоешь вода, ничего не видно, и вдругъ, колыхаясь, всплыветъ горбомъ, и видно, синѣетъ пятно. Совсѣмъ возлѣ. Выплыло изъ лунной полосы, плыветъ по черной холодной водѣ, и теперь отчетливо видно, что это спина,—голова и руки глубоко въ водѣ повисли, согнулся, а спина чуть надъ водой синѣетъ. Доплылъ до моста, потыкался, потыкался въ столбъ, тихонько закружился, поплылъ было назадъ, да подхватило течениемъ, юркнулъ въ черноту подъ мостъ, потомъ выплылъ ниже и незамѣтно пропалъ на поворотѣ въ лунномъ блескѣ. А тамъ сверху опять плыветъ. Этотъ на спинѣ, и лицо бѣлое, какъ листъ писчей бумаги. Подплылъ, ни усовъ, ни бороды, молоденькій, и мокрые глаза блестятъ стекломъ... Докторъ философіи!.. Это, говорю, ребята, докторъ философіи, учился, кончилъ гимназію, университетъ, получилъ дипломъ, на химическій заводъ поступилъ, тысячь шесть-семь получалъ. Химикъ...—Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, въ родѣ какъ нашъ прапорщикъ.—Химикъ, тебѣ говорятъ,—и ткнуть ножнами. Бѣлое лицо на минуту потонуло, да сейчасъ же опять всплыло, все цѣпляется за столбъ, никакъ подъ мостъ не пролѣзетъ.—Сила ихъ, вашескблагородіе, на насъ идетъ.—Глянулъ, а они ужъ гнѣздами плывутъ по десятку, по два, кучами, другъ на дружку, видны головы, руки, ноги, спины, и все наваливаются на столбы, какіе пролѣзаютъ подъ мостъ, какіе все толкутся у столбовъ. Я ножнами того бѣлолицаго все, а онъ погрузится и опять всплыветъ, бѣлѣетъ, и глаза блестятъ. Ахъ ты!.. стой!.. нѣтъ, братъ, шалишь!.. И все ножнами, ножнами, ножнами его!.. Слышу: «вашескблагородіе, дозвольте сказать—вы-бы пошли прилегли...».—Молчать!.. и ножнами, ножнами... Не видать и луннаго блеска. Рѣка, какъ изрытая—голова, руки, согнутыя колѣнки, и все это тѣсно надвигается на мостъ, а я все съ бѣлымъ никакъ не справлюсь, никакъ его ножнами подъ мостъ не спроважу... Опять слышу: «ваше благородіе, они насъ затопятъ!..». А я ужъ самъ хлюпаю по доскамъ водою—поднялась вода до настила, стала заливаться. А рѣки нѣту—изъ берега въ берегъ—они, тѣсно, хоть ходи по ихъ головамъ, по спинамъ, набились между сваями, легли подъ мостомъ до самаго дна, стала подыматься вода въ берегахъ, пошла черезъ настилъ.—Вызвать роту! Черезъ минуту, стуча по холодной землѣ, выстроилась, чернѣя вдоль берега, рота.—Составить ружья, ломать въ лѣсу сучья, вѣтви и маршъ на мостъ, пропихивай ихъ подъ мостъ... Заблестѣли въ козлахъ штыки, потомъ затрещалъ черный лѣсъ, пошелъ по немъ гулъ, ломъ и трескъ. Бѣгутъ солдаты съ кольями, съ вѣтками, а у кого цѣлое деревцо съ корнемъ вывернуто, тѣсно выстроились на мосту и стали ихъ пропихивать подъ мостъ. А на обоихъ берегахъ солдаты тоже отпихиваютъ отъ берега. А я своего бѣ-

лолицаго все ножнами, ножнами, ножнами... Ха-ха-ха!.. химикъ... Что-о?!... ты чего смѣешься?.. Да, такъ о чемъ это я... постой, на чемъ я остановился?.. Ну, хорошо. Шумъ, плескъ, шорохъ пошелъ по рѣкѣ. Стали ихъ проваживать подъ мостъ, поплыли они за мостомъ, а сверху еще тѣснѣй, еще гуще надвигаются,—сотни, тысячи ихъ идутъ. Работаютъ солдаты молча, тяжело дышутъ, только лица зеленыя... отъ луннаго свѣта, должно быть, а?.. Ты опять смѣешься?.. И вотъ среди молчанія одинъ солдатикъ: «братцы, они насъ одолѣютъ, сила ихъ!..». Я выхватилъ револьверъ, подскочилъ къ нему: «молчать! разможжу!..». И опять продолжали работать среди молчанія, среди тяжелаго дыханія. Луна стала заваливаться за лѣсъ; все почернѣло. Въ просвѣтѣ рѣчнаго поворота появились черныя птицы. Они молча летѣли на насъ, беззвучно махая черными крыльями, пролетали надъ мостомъ и низко пропадали позади за поворотомъ, пропадали тамъ же, куда плыли вытолкнутые нами изъ-подъ моста мертвецы. Ихъ уплывало все больше и больше. Позади моста, тѣснясь, изъ берега въ берегъ, они продвигались, пропадая за поворотомъ. Прошелъ часъ, два, три, четыре. Птицы все летѣли. Луна пропала за лѣсомъ. Двѣсти пятьдесятъ человѣкъ работали, не покладаячи рукъ, словно дрова всю рѣчку запрудили. Небо позеленѣло, и мертвая сила стала рѣдѣть; теперь плыли не сплошь, а гнѣздами, и въ просвѣтахъ показалась живая черная вода. Стали рѣдѣть и черныя молча летѣвшія птицы. Потомъ зазолотились верхушки сосенъ. По-утреннему задымилась рѣка, проплылъ послѣднй, опять съ бѣлымъ, какъ листъ писчей бумаги, лицомъ, пролетѣли послѣднйя птицы, и поднявшееся солнце освѣтило пустую рѣчку, сосны на берегу да солдатъ, ухидившихъ къ землянкамъ. Надъ землянками закурились голубые дымки; по берегу заблестѣли красноватые костры. И такая тишина, такой покой стоялъ надъ лѣсною рѣчкой...

Лунный свѣтъ передвинулся по комнатѣ и лежалъ узенькой полоской на подоконникѣ.

Сергѣй Николаевичъ сидѣлъ, осунувшись, глядя мимо остановившимися глазами, въ которыхъ, какъ въ стеклѣ, блестѣлъ лунный свѣтъ.

И вдругъ засмѣялся своимъ мыслямъ:

— Смѣшно. Какъ дѣти тихо дышутъ. Гдѣ это оркестръ играетъ? Странно, ночь, негдѣ теперь; никогда не бывало.

У ней стучали зубы.

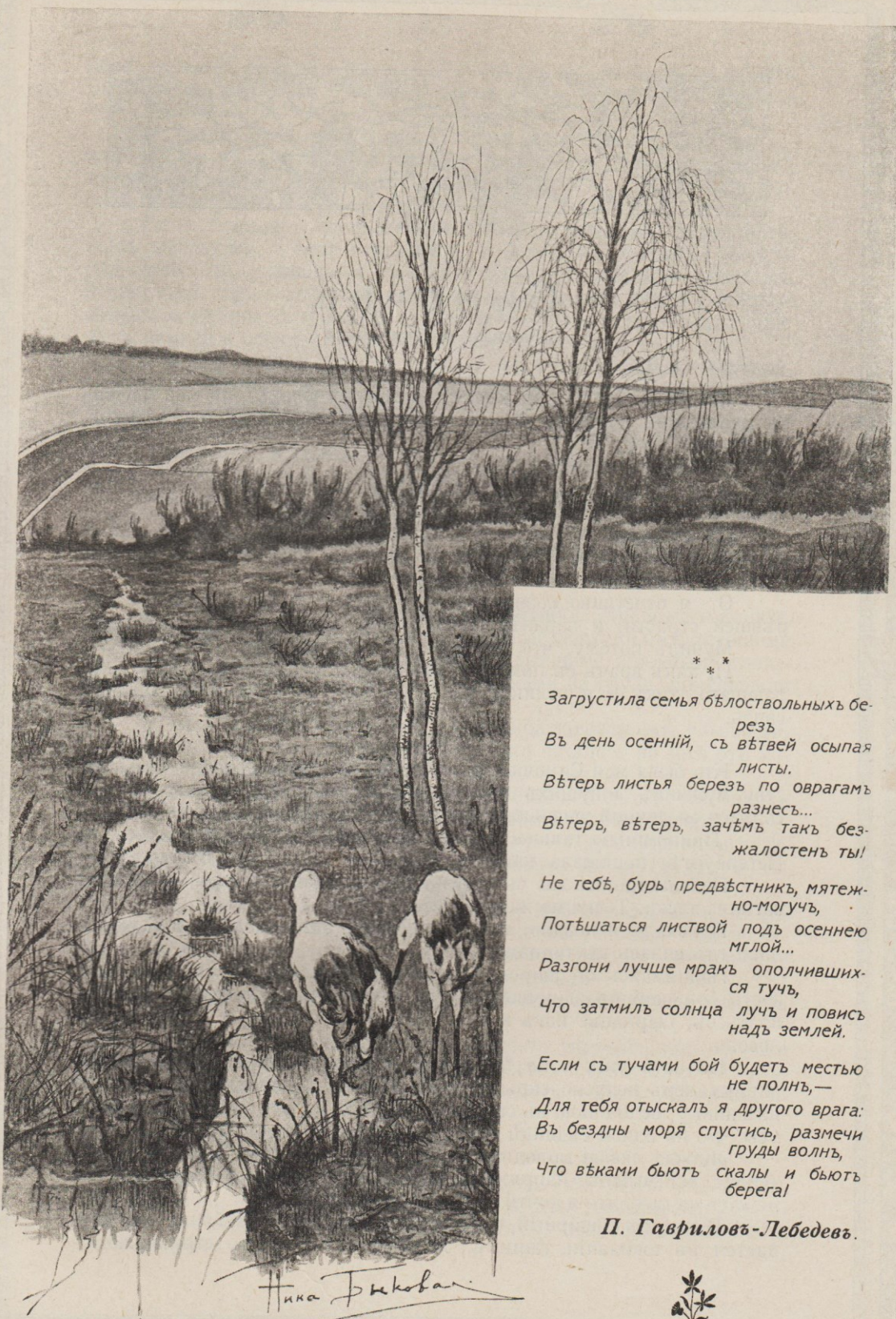
— Ты думаешь, я сошелъ... съ ума. Нѣтъ, я все понимаю. Малоли что въ жизни бываетъ... Когда слышишь, какъ дѣтишки спятъ, особый покой на душу нисходитъ... Все-таки странно... оркестръ звучитъ. Помнишь, тогда, въ концертѣ, давно, когда мы съ тобой... оркестръ игралъ... какъ это... какъ называется...

Она бросилась къ нему, обняла его голову, сдавила и зашептала изступленно:

— Молчи!! не надо... не говори... не надо!..

Такъ сидѣли они, не глядя кругомъ, прислушиваясь, и ждали разсвѣта.

А. Серафимовичъ.



* * *

Загрустила семья бѣлоствольныхъ бе-
резъ
Въ день осенній, съ вѣтвей осылая
листья,
Вѣтеръ листья березъ по оврагамъ
разнесъ...
Вѣтеръ, вѣтеръ, зачѣмъ такъ без-
жалостенъ ты!

Не тебѣ, бурь предвѣстникъ, мятеж-
но-могучъ,
Потѣшаться листвою подь осеннею
мглою...
Разгони лучше мракъ ополчивших-
ся тучъ,
Что затмиль солнца лучъ и повисъ
надъ землей.

Если съ тучами бой будетъ мезтью
не полнь,—
Для тебя отыскаль я другого врага:
Въ бездны моря спустись, размечи
груды волнь,
Что вѣками бьютъ скалы и бьютъ
берега!

П. Гавриловъ-Лебедевъ.





Симочка.

Разсказъ А. Свирскаго.

I.

Мнѣ показалось или, вѣрнѣе, я почувствовалъ, что моя любовь къ маленькой, довѣрчивой и беззаботной Симочкѣ умираетъ тихой, незамѣтной смертью.

И совѣсть встревожилась.

Тогда я простеръ къ возлюбленной всю доброту мою, умножилъ ласки, напрягъ вниманіе и удвоилъ нѣжность.

Но сердцемъ я уже ощущалъ близость разлуки, и въ самыя интимныя минуты мои собственные поцѣлуи казались мнѣ сырымъ пескомъ, падающимъ на тлѣющей костеръ.

О, я отчетливо сознавалъ, что осыпаю подругу пепломъ сгорѣвшей страсти, и заранѣе мучилъ себя всяческими угрызениями.

Мучилъ потому, что искренно вѣрилъ въ свою порядочность.

И, какъ врачъ съ помощью кислорода продливаетъ агонію умирающаго, такъ и я великодушной ложью удлинялъ нашу шаткую связь.

II.

Кто была моя Симочка, въ точности, не знаю: подобно большинству мужчинъ, ищущихъ въ женщинахъ женщину, я мало интересовался ея личной жизнью, а еще меньше—ея прошлымъ.

Припоминаю только, что она пріѣхала съ Кавказа и здѣсь, въ Петербургъ, посѣщала какіе-то курсы—кажется, педагогическіе.

Познакомились мы съ нею на студенческомъ вечерѣ, куда меня загнала тоска. Тоска по женщинѣ.

Пріѣхалъ я поздно, послѣ концерта, когда молодежь нетерпѣливо готовилась къ танцамъ.

Поднимаясь по широкой каменной лѣстницѣ, я ощутилъ близость большой праздничной толпы. Сверху падалъ мягкій шелестъ платьевъ, шарканье ногъ и тихій говоръ мужскихъ и женскихъ голосовъ.

Но вотъ ужъ я на площадкѣ и оглядываю себя въ зеркалѣ: парикмахеръ искусно скрылъ прической на косой проборъ круглую плѣшинку, величиною въ серебряный рубль и такъ умѣло распушилъ усы, что ни одной сѣдинки незамѣтно.

Жажда любви молодить меня, я чувствую себя бодрымъ, поетъ сердце, всѣ мышцы напряжены, а мои сорокъ пять лѣтъ такъ легко лежатъ на мнѣ, что я почти не ощущаю ихъ тяжести.

Вхожу въ обширный, щедро освѣщенный залъ. Публика прогуливается въ ожиданіи танцевъ. Я выправляю грудь, стряхиваю съ

плечъ лишній десятокъ лѣтъ, наполняю глаза теплымъ блескомъ (я тогда еще умѣлъ это дѣлать), взглядомъ веселаго искателя приключеній обнимаю толпу и выбираю удобное мѣсто для наблюдений.

И, какъ охотникъ въ лѣсу не замѣчаетъ деревьевъ, такъ и я, очутившись въ большомъ обществѣ, не замѣчаю мужчинъ, а вижу только женщинъ... Я пропускаю ихъ мимо себя и быстро на глаза оцѣниваю наряды, фигуры, лѣта...

Маню женщинъ взглядами, улыбкой и сердцемъ, переполненнымъ желаніемъ, а онѣ, образовавъ широкое живое кольцо, ведутъ медлительный хороводъ и дразнятъ меня обнаженными плечами, нервируютъ запахомъ духовъ, приятно раздражаютъ слухъ шорохомъ свѣтлыхъ ажурныхъ платьевъ и обжигаютъ глаза искрами драгоценныхъ камней и сочнымъ блескомъ смѣющихся зубовъ.

Совсѣмъ близко, чуть не задѣвая меня обнаженными локтями, проходитъ высокая полногрудая дама въ нѣжно-голубомъ бальномъ платьѣ съ просторнымъ вырѣзомъ.

На головѣ дамы кудрявится свѣтлая башня мертвыхъ волосъ цвѣта канарейки, а темные подрисованные глаза, грѣшные, изжитые глаза, все еще ищутъ и жадно хотятъ жить.

Она замѣтила меня, обдала волной сладкихъ, до головокруженія, духовъ и улыбнулась обѣщающей улыбкой.

Вънадеждѣ на лучшее, я отпустилъ съ миромъ бывшую брюнетку.

III.

Заиграла музыка. Студенты-первокурсники, стройные и тонкіе, съ дѣвичьими таліями, затянутые въ парадные сюртуки съ блестящими пуговицами, радостно возбужденные, съ горящими влажными глазами и красными распорядительскими бантиками на груди, приглашали публику въ слѣдующій залъ...

Музыка подняла настроеніе, и всѣ лица засвѣтились улыбками.

Я твердо рѣшилъ танцевать, и все, что осталось во мнѣ отъ молодости, вдругъ ожило и окрѣпло.

Мнѣ захотѣлось въ тотъ вечеръ пріобщиться къ юности, подойти къ ней, какъ равный, и окончательно забыть о своемъ возрастѣ.

Я вошелъ въ танцевальный залъ, и что-то дрогнуло во мнѣ зазвенѣло: я увидѣлъ Симочку. Увидѣлъ маленькую смуглолицую дѣвушку съ большими черными глазами.

До сихъ поръ не могу понять, почему мой выборъ палъ на Симочку, и почему мое сердце, сердце опытнаго мужчины, встревожилось, когда дѣвушка подняла черныя крылья рѣсницъ и спокойно взглянула на меня влажными, круглыми глазами.

Я подошелъ къ ней и притворно-робкимъ голосомъ пригласилъ на вальсъ.

Черезъ минуту подъ плавный и немного тягучій ритмъ музыки мы скользили по навощенному паркету, кружась среди множества паръ.

Я чувствовалъ себя сильнымъ и ловкимъ и былъ убѣжденъ въ успѣхъ.

— Вы устали?—спросилъ я.

— Нѣтъ... немного.

Тогда я вынесъ ее изъ круга танцующихъ, подкатилъ стулъ, назвалъ себя, мягко пожалъ протянутую руку, поблагодарилъ и, путаясь въ словахъ и по-юношески краснѣя, попросилъ позволенія сѣсть рядомъ.

Игра удалась. Мое притворное смущение подѣйствовало: Симочка осмѣлѣла.

— Вы хорошо танцуете,—сказала она и плеснула чернотой южныхъ глазъ въ мои сѣрые зрачки.

Этотъ влажный взглядъ доврчивой лани обжегъ меня, и я съ трудомъ сдерживалъ волнение.

Потомъ Симочка разговорилась. Она мнѣ пожаловалась на Петербургъ, говорила о холодныхъ людяхъ, о безсолнечныхъ дняхъ и о томъ, что ей трудно привыкнутьъ къ сѣверу и что она чувствуетъ себя одинокой.

Бесѣдуя со мною, дѣвушка бессознательно кокетничала и осторожно оглядывала меня.

Я замѣтилъ это и старался придать лицу моему честное и открытое выражение. А когда наши взгляды сталкивались, я смущенно опускалъ глаза и скромно вздыхалъ... Слушалъ я Симочку съ большимъ вниманіемъ и притворнымъ сочувствіемъ, а самъ былъ занятъ мыслью о томъ, какъ-бы продолжить это знакомство.

Въ третьемъ часу ночи мы разстались съ Симочкой у воротъ того дома, гдѣ она снимала комнату.

А на другой день я ей написалъ письмо. Въ письмѣ я просилъ зайти ко мнѣ. «Вы сами вчера говорили,—писалъ я ей,—что вамъ противны мѣщанскія условности, что вы—человѣкъ, свободный въ своихъ поступкахъ... Будьте же послѣдовательны и навѣстите вашего случайнаго знакомаго, изнывающаго въ тоскѣ и одиночествѣ»...

IV.

И Симочка пришла. Никогда не забуду этого момента.

Дѣвушка струсила и потерялась, когда очутилась въ большой и богато обставленной квартирѣ стараго холостяка. Чтобы скрыть свое смущение, она громко смѣялась, говорила нелѣпости, краснѣла до слезъ и, видимо, сильно страдала.

Мнѣ жаль ея стало и я всѣ усилія употребилъ на то, чтобы успокоить маленькую, неопытную провинціалку.

— Если-бы я знала, что вы такъ богаты, я-бы ни за что къ вамъ не пришла.

— Почему?

— Да ужъ такъ... сама не знаю. Боюсь богатыхъ и не вѣрю имъ.

— Напрасно. Я, дѣйствительно, человѣкъ обеспеченный, но изъ этого еще не слѣдуетъ, что я—человѣкъ скверный.

Когда лакей подаль чай, Симочка уже успѣла немного успокоиться и понемногу, благодаря вѣрно взятому мною тону, стала осваиваться съ окружающей обстановкой.

— Это у васъ гостиная?—спросила она, обводя глазами комнату, украшенную коврами и старинными восточными предметами.

— Да.

— Это называется восточный стиль?

— Да, восточный.

— Вотъ у насъ на Кавказѣ многіе такъ украшаютъ свои квартиры. А тамъ что у васъ? Кабинетъ?

— Да. Хотите я покажу вамъ всю квартиру?

Симочка окончательно успокоилась. И снова я увидаль спокойные, доврчивые глаза и услышалъ мягкій грудной смѣхъ.

А когда я повелъ ее къ дверямъ спальни и заявилъ, что дѣвкамъ заглядывать сюда воспрещается, Симочка вдругъ запротестовала и приказала открыть дверь.

Большими черными глазами обвела она комнату, скользнула взглядомъ по кровати, сдѣлала гримаску и повернула назадъ.

— Таинственный вы народъ—мужчины,—проговорила она на ходу и по-дѣтски приподняла плечи.

— Чѣмъ же мы таинственны?

— А Богъ васъ знаетъ. Разобрать трудно. Вотъ вы человѣкъ тихій, скромный, даже застѣнчивый... Помните, какъ вчера вы трусили?... А подойдешь къ вамъ ближе, и, гляди, звѣрь выскочить...

— Что вы, что вы, Симочка?... Простите, обмолвился, больше не буду.

— Пожалуйста, можете называть меня, какъ хотите.

Симочка пробыла у меня недолго. На этотъ разъ я не сталъ задерживать ее. И какъ только она заявила, что ей пора, я сейчасъ же отпустилъ ее.

А черезъ недѣлю Симочка была моей. Побѣда досталась легко и это особенно льстило моему самолюбію.

— Нѣтъ,—говорилъ я самому себѣ,—старость еще далека, и еще не скоро осушу я чашу Жизни.

V.

Первое время мы съ Симочкой сидѣли дома и никого не принимали. Пьяные отъ любви, мы съ безразсудной щедростью отдавали другъ-другу свои силы, нервы и въ бѣшеной радости забывали о времени. Въ кипящемъ винѣ любви мы топили память о прошломъ, и, радостно безумствуя, рождали новый міръ, свой собственный міръ, освѣщенный нашими восторгами, нашей огненной и вѣчной страстью.

Вѣчной... Прошло всего два мѣсяца, и доброй половины нашей «вѣчности» уже не стало.

Я первый протрезвился и замѣтилъ, что наступаетъ весна.

— Симочка,—сказалъ я подругѣ,—а, вѣдь, близится апрѣль.

— Ну, такъ что-жъ?

— А то, что пора покидать столицу.

— И покинемъ. Ахъ, милый, мнѣ все равно: гдѣ ты, тамъ и мнѣ хорошо. Хоть въ Бразилію...

Удивительный человѣкъ была эта Симочка. Сама—маленькая, а чувства—огромныя. Она вся была соткана изъ крайностей. Золотой середины не признавала. Любить—такъ любить безъ оглядки, до изступленія. «До послѣдней капельки»,—часто повторяла она, и я вѣрилъ ей. И поэтому мнѣ было жаль ея, и я рѣшилъ до крайней возможности продлить нашу совмѣстную жизнь.

И, когда наступила весна, я увезъ Симочку въ свое дачное имѣніе, находившееся въ ста верстахъ отъ Петербурга по Варшавской дорогѣ.

Странный образъ жизни вели мы съ нею. Глядя на насъ со стороны, можно было подумать, что мы съ Симочкой свалились съ луны и что съ землей у насъ не было никакихъ связей, никакого прошлаго.

Я всѣ свои дѣла передалъ моему повѣренному и умылъ руки. Никакихъ писемъ ни я, ни Симочка не получали. Ничто насъ не интересовало: ни театры, ни газеты.

— Симочка, что-же ты къ отъѣзду не готовишься?—спросилъ я у подруги.

— А какъ я должна готовиться?
— Надо покупки дѣлать. Съѣзди въ гостиный дворъ, посмотри на моды и купи, что тебѣ надо.
— Нѣтъ, обойдется, потомъ... Теперь недосугъ.
И мы уѣхали.

VI.

Солнечные дни, безлюдье, просторъ, широкое озеро, опоясанное сосновымъ лѣсомъ, свистъ и шелканье птицъ, пестрая бархатнокрылая бабочка, мягкая ласковая теплыня и многое иное, что даетъ торопливая сѣверная весна, щедрая, многозвучная и жизнеобильная, закружили насъ, и мы, налитые горячей здоровой кровью, жадно пили радость бытія.

Однако, долженъ сознаться, что этотъ праздникъ любви порядкомъ истрепалъ меня. Съ каждымъ днемъ прибавлялась сѣдина и рѣдѣли волосы. Огромныхъ усилій мнѣ стоило скрывать отъ Симочки свои дефекты. Она же ни минутки не могла сидѣть спокойно и часто заставляла меня гоняться за нею то по саду, то по берегу озера.

И я бѣгалъ изо всѣхъ силъ и, конечно, настигалъ ее, но зато какъ трудно было мнѣ таить одышку и дѣлать видъ, что ничуть не усталъ.

Однажды Симочка проснулась грустная и чѣмъ-то недовольная.

— Погода какая мерзкая: всю ночь барабанилъ дождь. И сейчасъ солнца нѣтъ.

— Нельзя же, Симочка, все солнце да солнце. Посидимъ денекъ дома, побесѣдуемъ... А то мы съ тобою за все время и двухъ словъ не сказали, точно дѣти.

Симочка большими удивленными глазами посмотрѣла на меня, потомъ улыбнулась и сказала:

— И то правда. Мы какъ будто съ тобою съ ума сошли. Вѣдь, я сама за все это время ни о чемъ не думала. Давай, голубчикъ, станемъ умными.

— Согласенъ. Ну, идемъ въ столовую: кофе готовъ.

— Идемъ.

Симочка, какъ видно, долго грустить не любила. Къ завтраку она вышла веселая съ обычной улыбкой на смугломъ лицѣ. На ней была свѣжая рубашечка цвѣта кремъ, черные волосы распущены, коротенькая черная юбочка. Она вошла танцующей походкой, дробно стуча высокими каблукками, и заняла мѣсто хозяйки.

— Тебѣ покрѣпче налить?

— Налей покрѣпче.

Симочка вдругъ расхохоталась.

— Ты чего?

— Какіе мы серьезные сегодня...—и залилась смѣхомъ.

Послѣ завтрака мы отправились въ маленькую гостиную, бѣлую, уютную, облюбованную Симочкой съ перваго дня пріѣзда. Изъ широкаго окна открывался видъ на озеро и на лѣсъ. Но сегодня не стоило смотрѣть: косая сѣть дождя и низко упавшее небо темно-сѣрой массой клубились въ воздухѣ и сѣяли сумерки.

Симочка подвела меня къ креслу, усадила, забралась ко мнѣ на колѣни, крѣпко обняла обѣими руками мою шею, прильнула головой къ груди и, слегка приподнявъ черныя густыя рѣсницы, мечтательно прищурилась и заговорила:

— Послушай, милый, тебѣ не кажется все это страннымъ и невѣроятнымъ?

— Что именно?

— Да вотъ то, что мы случайно встрѣтились, протанцовали вальсъ и вдругъ стали такими близкими и родными. Вотъ я сейчасъ сижу на твоихъ колѣняхъ, обнимаю тебя, и мнѣ ни капельки не стыдно. Мы какъ будто слились въ одно цѣлое. Вотъ я слышу каждый ударъ твоего сердца. Я люблю и знаю твой голосъ, точно я его слыхала съ дѣтства. Запомнила твои жесты, твою походку, улыбку, твой смѣхъ. А давно-ли мы были совсѣмъ, совсѣмъ чужіе?

Симочка умолкла и еще плотнѣе прижалась ко мнѣ. Я одной рукой обнялъ ее за талію, а другой нѣжно провелъ по ея пышнымъ волнисто-чернымъ волосамъ.

— Что ты этимъ хотѣла сказать?—спросилъ я.

— А то я хотѣла сказать, что мы, въ сущности, и сейчасъ такіе же чужіе, какими были до первой встрѣчи. Я не знаю твоего прошлаго, не знаю твоихъ родныхъ, а ты не знаешь, какъ меня зовутъ по отчеству. И въ то же время мы совсѣмъ не стыдимся другъ-друга и слились въ одно цѣлое. Вотъ это мнѣ и страннымъ кажется. Я слышу біеніе твоего сердца, а не могу узнать, о чемъ ты думаешь.

— Я понимаю тебя, Симочка, и вполнѣ тебѣ сочувствую. Ты, какъ всѣ женщины, хотѣла-быовладѣть любимымъ человѣкомъ всецѣло, до послѣдняго волоска, до послѣдней его мысли. Но, милая, достигнуть этого нельзя: я самъ не знаю, о чемъ я буду думать черезъ секунду...

— Да, да, ты правъ,—перебила меня Симочка,—бросимъ это. Поговоримъ о другомъ. Ты, до меня, любилъ кого-нибудь?

— Любилъ.

— И много разъ?

— Сознаюсь, дѣточка, грѣшенъ.

— Какъ же все это происходило?—въ томъ же раздумчиво-мечтательномъ тонѣ продолжала расспрашивать Симочка.—Любили тебя женщины, а потомъ покидали?

— Ну, нѣтъ. Отъ этого меня Богъ миловалъ. Всегда инициатива исходила отъ меня,—добавилъ я съ чисто мужскимъ задоромъ.

И тутъ я почувствовалъ, что руки, обнимавшія мою шею, ослабли, и голова, прильнувшая къ груди моей, слегка приподнялась.

— И онѣ уходили смиренно?

— Не всегда. Ахъ, Симочка, вспоминать тяжело. Ты представить себѣ не можешь, какія неприятности переживалъ я изъ-за случайныхъ связей. Понимаешь, моя полухолостая, полусемейная жизнь такъ нелѣпо сложилась, что она вся какъ будто полна недописанными романами. Бывали сцены ужасныя. Мнѣ устраивали скандалы въ театрахъ, въ собраніяхъ, въ церкви, въ меня стрѣляли, забрасывали угрожающими письмами... А однажды мнѣ подкинули ребенка.

— И что же ты?

— Ничего. Откупался, какъ всегда, деньгами. Были женщины слабыя, которыя слезными мольбами старались вернуть меня къ себѣ, врывались въ домъ, обнимали мои ноги и оглашали домъ истерическими рыданіями... Тяжело вспоминать. Но были и гордыя. Тѣ уходили молча, съ откинутой назадъ головой.

— Умницы,—воскликнула Симочка и вскочила на ноги.

— Но все это къ тебѣ, моя дорогая, не относится. Насъ съ тобою разлучить только смерть.

Я подошелъ къ ней, обнялъ и поцѣловалъ въ голову.

Симочка слегка отстранила меня и сказала:

— Я сама знаю, что ты меня не бросишь. Я, вѣдь, не такая...

Моя маленькая Симочка вдругъ выросла, сдѣлалась большая, вспыхнули всѣми внутренними огнями просторные глаза, и даже кулачки были сжаты... У меня что-то оборвалось въ груди, и промелькнула мысль: «большой будетъ скандалъ».

Разговоромъ я все-таки остался доволенъ. По крайней мѣрѣ Симочка уже знаетъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло, и почва для будущаго разрыва подготовлена...

VII.

Между нами что-то произошло. Симочка стала нервничать, а я насторожился. И мысль о неизбежности разрыва все чаще стала посѣщать меня. Связать себя на всю жизнь съ Симочкой не входило въ мои расчеты. Это было противно моей натурѣ. Мнѣ-ли, доброму, старому холостяку, свободному жуиру, побѣдителю сердець, отдать себя въ жертву семейному очагу. Ни за что.

И я рѣшилъ подойти къ концу. Выработалъ я планъ простой. Уѣду въ Петербургъ по дѣламъ, а затѣмъ пришлю покаянное письмо, въ которомъ попрошу извиненіе, ругательски обругаю себя, а ее превознесу и... Словомъ, сдѣлаю все, что полагается въ подобныхъ случаяхъ.

Съ этой мыслью я носился нѣсколько дней и невыносимо страдалъ отъ жалости къ обреченной жертвѣ.

А Симочка ничего не подозрѣвала, была весела и довѣрчива и попрежнему дарила ласки. Только однажды утромъ, когда я сказалъ, что мнѣ на пару дней надо въ городъ съѣздить, Симочка сильно заволновалась, точно сердцемъ почувала бѣду.

— Ну, что-жъ, поѣзжай съ Богомъ... А я поскучаю. Нельзя же все вмѣстѣ да вмѣстѣ...

И вижу я: старается Симочка себя въ руки взять, да не можетъ.

А когда наступилъ день моего отъѣзда, бѣдняжка совсѣмъ голову потеряла. Нѣсколько разъ мѣняла платья, а потомъ «на минуточку» заперлась въ своей комнатѣ.

Я слѣдилъ за нею сердцемъ, переполненнымъ жалостью и любовью. Да, и любовью. Но какой-то злой духъ неотступно преслѣдовалъ меня и нашептывалъ: «уѣзжай, потомъ поздно будетъ».

И я поѣхалъ. Симочка вызвалась проводить меня до станціи. Всю дорогу нервничала, говорила безъ конца, и я видѣлъ, что она возбуждена до крайности. Ея волненіе незамѣтно передавалось мнѣ, и нервы мои напряглись.

— Возможно, что завтра я вернусь, моя Симочка. Будь покойна.

— Да я ничего. Сама знаю, что не навѣки уѣзжаешь... Ты, пожалуйста, не обращай на меня вниманія. Я немного взволнована, но это просто такъ...

И Симочка постаралась улыбнуться...

Подошелъ дачный поѣздъ. Кучеръ принесъ мнѣ билетъ. Ударилъ второй звонокъ. Я наклонился къ Симочкѣ, хотѣлъ ее поцѣловать, но она вдругъ чего-то застыдилась и откинула голову, не принявъ поцѣлуя.

Поѣздъ тронулся. Съ стѣсненнымъ сердцемъ вскочилъ я на площадку и снялъ шляпу. Симочка закивала головой и краснымъ зонтикомъ. И долго въ голубомъ воздухѣ лѣтняго утра раскачивался

красный кругъ, а я, высунувъ руку со шляпой, посылалъ Симочкѣ, одиноко стоявшей на платформѣ, прощальныя привѣтствія.

Очутившись въ вагонѣ среди дремлющихъ пассажировъ, я вдругъ почувствовалъ себя настолько скверно, что вынужденъ былъ выйти на площадку. Тяжелая тоска сухимъ горькимъ комомъ подкатилась къ горлу и душила меня. Я готовъ былъ разрыдаться.

И только сейчасъ я понялъ, какъ сильно люблю Симочку.

— Послушайте, кондукторъ, на какой станціи я долженъ сойти, чтобы попасть на встрѣчный поѣздъ?

— Придется до Гатчины доѣхать. Тамъ подождете десять минутъ.

Мысль вернуться назадъ, не доѣхавъ до Петербурга, явилась внезапно и стрѣлой вонзилась въ мозгъ. И сразу отлегло отъ сердца. Вотъ это будетъ сюрпризъ для Симочки. Воображаю, какъ она обрадуется, какъ закружитъ меня.

И нетерпѣніе мое расло съ каждой минутой. А поѣздъ, какъ нарочно, тащился черезъ силу, какъ богомолка съ дальнихъ мѣстъ.

VIII.

Вернулся я ровно черезъ два часа. И, о, радость, на станціи узнаю свой выѣздъ. Должно быть, кучеръ пріѣхалъ за почтой... А вотъ и онъ, мой рыжебородый Захаръ.

— Захаръ!—кричу я,—ты зачѣмъ здѣсь?

— Барышню отвозилъ.

Меня что-то по затылку ударило, и я слегка покачнулся.

Я подошелъ ближе и почти шопотомъ спросилъ:

— Куда отвозилъ?

— На поѣздъ. Сейчасъ только отошелъ, въ Питеръ который...

— Ну, ладно, ѣдемъ домой.

Такъ вотъ она какая! Не выдержала и погналась за мной. И закипѣла во мнѣ злоба. Вотъ всѣ, всѣ онѣ такія. Нѣтъ, надо разстаться. Богъ съ нею. Мнѣ моя свобода дороже.

Дома меня встрѣтила горничная Наташа, рослая курносая дѣвушка съ ясными сѣрыми глазами. По этимъ глазамъ я узналъ, что она что-то знаетъ.

— А барыня только уѣхала и письмо вамъ оставила. На столѣ въ ихней комнатѣ лежитъ.

— Ладно. Идите.

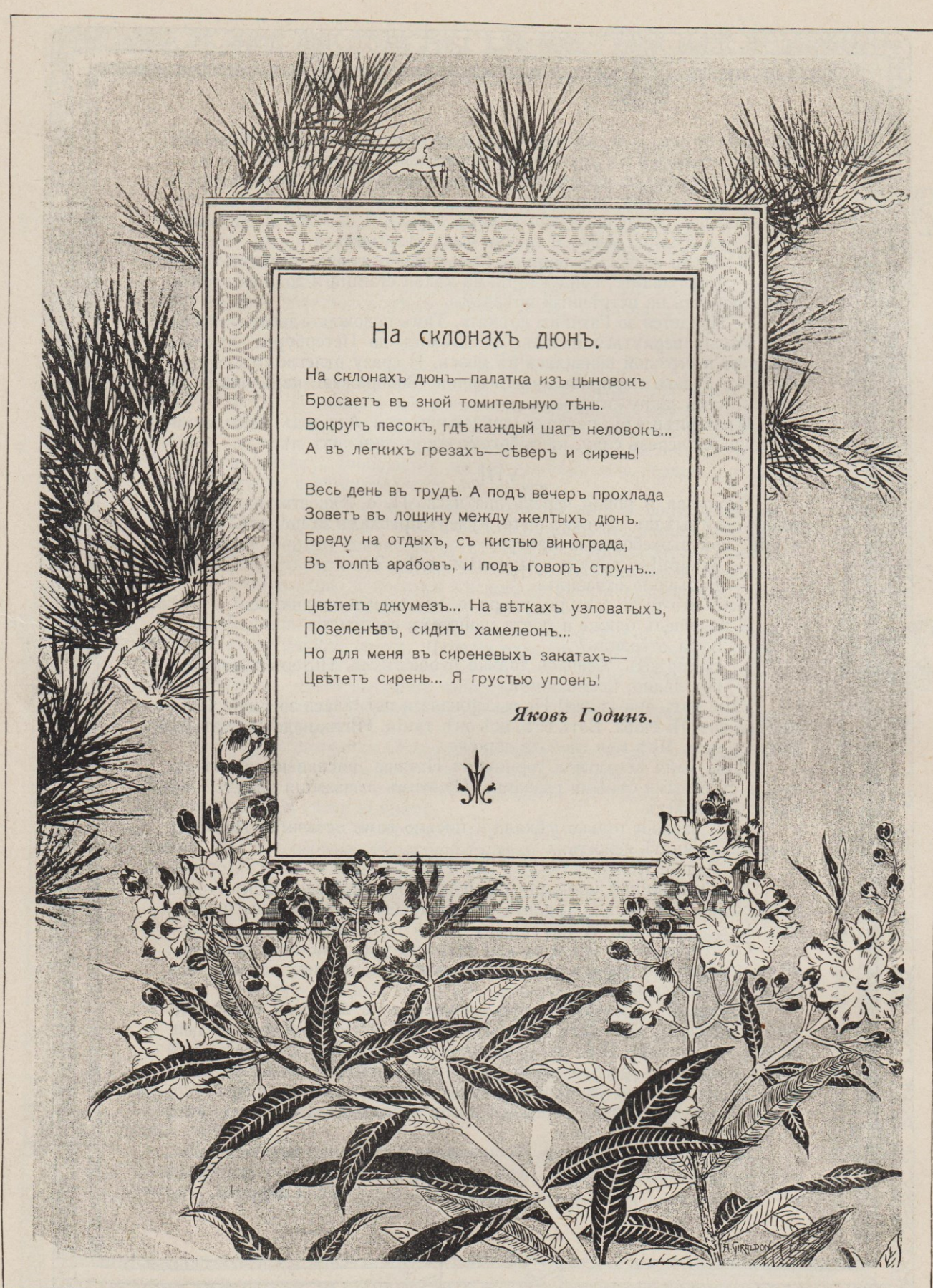
Въ Симочкиной комнатѣ я нашелъ полный беспорядокъ, точно сейчасъ изъ нея вышли грабители. Всюду были разбросаны платья, картонки, книжки... А на столѣ лежалъ голубой конвертикъ.

Съ чувствомъ сильной досады вскрылъ я письмо и сталъ читать. И съ первыхъ же строкъ изъ моихъ глазъ посыпались искры и вся кровь бросилась въ лицо.

Я читалъ: «Ухожу отъ васъ, пока еще не всѣ огни погашены. Ухожу навсегда. Для вашихъ закатныхъ дней я была только зарницей. Яркой, но краткой. И за это должны вы быть благодарны. Пусть мой уходъ послужитъ расплатой за ту, которая, рыдая, обнимала ваши ноги, за ту, которая уходила съ гордо поднятой головой, и за ту, которая обливала слезами ребенка, когда подкидывала его вамъ. Мнѣ же отъ васъ ничего не надо»...

Дальше ужъ я не помню. Помню только, что, когда читалъ письмо, нѣкто невидимый хлесталъ меня по лицу, а въ глазахъ закипали слезы.

А. Свирскій.



На склонах дюнь.


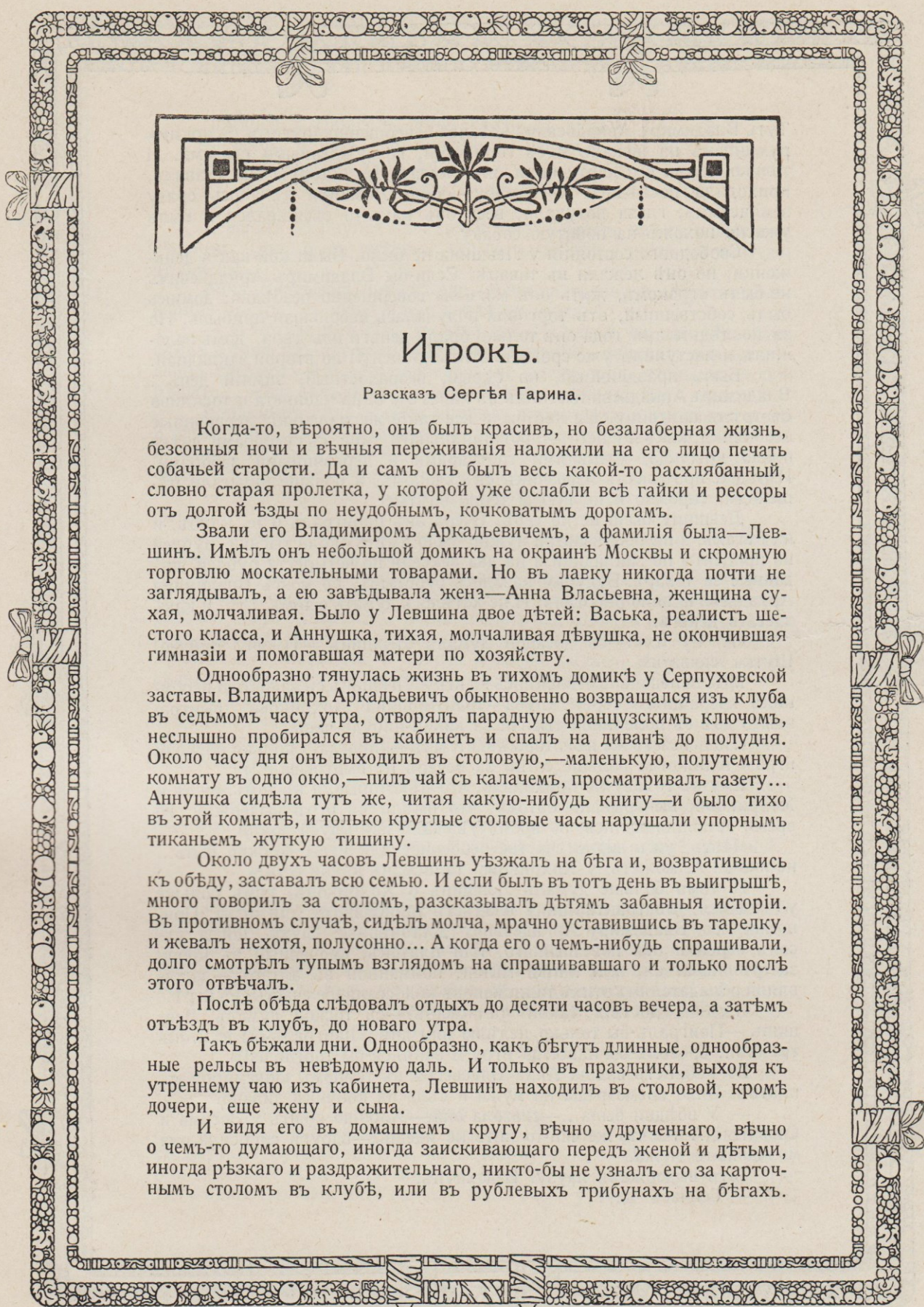
На склонах дюнь—палатка изъ цыновокъ
Бросаетъ въ зной томительную тѣнь.
Вокругъ песокъ, гдѣ каждый шагъ неловокъ...
А въ легкихъ грезахъ—сѣверъ и сирень!

Весь день въ трудѣ. А подь вечеръ прохлада
Зоветь въ лошину между желтыхъ дюнь.
Бреду на отдыхъ, съ кистью винограда,
Въ толпѣ арабовъ, и подь говоръ струнь...

Цвѣтеть джумезь... На вѣткахъ узловатыхъ,
Позеленѣвъ, сидитъ хамелеонъ...
Но для меня въ сиреневыхъ закатахъ—
Цвѣтеть сирень... Я грустью упоенъ!

Яковъ Годинъ.





Игрокъ.

Разказъ Сергѣя Гарина.

Когда-то, вѣроятно, онъ былъ красивъ, но безалаберная жизнь, бессонныя ночи и вѣчныя переживанія наложили на его лицо печать собачьей старости. Да и самъ онъ былъ весь какой-то расхлябанный, словно старая пролетка, у которой уже ослабли всѣ гайки и рессоры отъ долгой ѣзды по неудобнымъ, кочковатымъ дорогамъ.

Звали его Владимиромъ Аркадьевичемъ, а фамилія была—Левшинъ. Имѣлъ онъ небольшой домикъ на окраинѣ Москвы и скромную торговлю москательными товарами. Но въ лавку никогда почти не заглядываль, а ея завѣдывала жена—Анна Власьевна, женщина сухая, молчаливая. Было у Левшина двое дѣтей: Васька, реалистъ шестого класса, и Аннушка, тихая, молчаливая дѣвушка, не окончившая гимназіи и помогавшая матери по хозяйству.

Однообразно тянулась жизнь въ тихомъ домикѣ у Серпуховской заставы. Владимиръ Аркадьевичъ обыкновенно возвращался изъ клуба въ седьмомъ часу утра, отворялъ парадную французскимъ ключомъ, неслышно пробирался въ кабинетъ и спалъ на диванѣ до полудня. Около часу дня онъ выходилъ въ столовую,—маленькую, полутемную комнату въ одно окно,—пилъ чай съ калачемъ, просматривалъ газету... Аннушка сидѣла тутъ же, читая какую-нибудь книгу—и было тихо въ этой комнатѣ, и только круглые столовые часы нарушали упорнымъ тиканьемъ жуткую тишину.

Около двухъ часовъ Левшинъ уѣзжалъ на бѣга и, возвратившись къ обѣду, заставалъ всю семью. И если былъ въ тотъ день въ выигрышѣ, много говорилъ за столомъ, рассказывалъ дѣтямъ забавныя исторіи. Въ противномъ случаѣ, сидѣлъ молча, мрачно уставившись въ тарелку, и жевалъ нехотя, полусонно... А когда его о чемъ-нибудь спрашивали, долго смотрѣлъ тупымъ взглядомъ на спрашивавшаго и только послѣ этого отвѣчалъ.

Послѣ обѣда слѣдовалъ отдыхъ до десяти часовъ вечера, а затѣмъ отъѣздъ въ клубъ, до новаго утра.

Такъ бѣжали дни. Однообразно, какъ бѣгутъ длинныя, однообразныя рельсы въ невѣдомую даль. И только въ праздники, выходя къ утреннему чаю изъ кабинета, Левшинъ находилъ въ столовой, кромѣ дочери, еще жену и сына.

И видя его въ домашнемъ кругу, вѣчно удрученнаго, вѣчно о чемъ-то думающаго, иногда заискивающаго передъ женой и дѣтьми, иногда рѣзкаго и раздражительнаго, никто-бы не узналъ его за карточнымъ столомъ въ клубѣ, или въ рублевыхъ трибунахъ на бѣгахъ.

Тутъ Владимиръ Аркадьевичъ казался совершенно другимъ, съ яркимъ румянцемъ на щекахъ и съ горящими, возбужденными глазами. И только, когда его карту били, или лошадь, на которую онъ ставилъ, приходила послѣдней къ столбу,—лицо Левшина дѣлалось сразу землистымъ, глаза потухали, весь онъ какъ-то съеживался и былъ ужасно похожъ на побитую собаку.

Свободнаго состоянія у Левшина не было. Были кой-какія деньжонки, но онѣ лежали въ товарѣ. Если-бы Владимиръ Аркадьевичъ не былъ игрокомъ, жить онъ могъ-бы совершенно безбѣдно: домикъ былъ собственный, отъ торговли получалась небольшая прибыль. Но за послѣдніе три года онъ только бралъ деньги изъ дѣла, домъ заложилъ, и наступилъ уже срокъ платить проценты по второй закладной.

Былъ праздничный, но сѣрый, безрадостный, зимній день... Владимиръ Аркадьевичъ стоялъ въ халатѣ у окна кабинета и тоскливо смотрѣлъ на улицу. На ней были все такіе же маленькіе деревянные особнячки, какъ и у него,—провинціального типа, съ сугробами снѣга около крыльца, узенькими тротуарами и деревянными заборами. Изрѣдка проѣзжалъ извозчикъ съ сѣдокомъ, а больше шмыгали пѣшеходы, скромно и не всегда тепло одѣтые...

Левшину было не по себѣ. Вчера онъ проигралъ и въ клубѣ, и на бѣгахъ, а на послѣзавтра нужно было имѣть около тысячи рублей на проценты по закладной и на два векселя по четыреста рублей, выданные за товаръ. Будущее казалось суровымъ, но мозгъ Владимира Аркадьевича вяло работалъ. И не хотѣлось думать о томъ: гдѣ и какъ достать денегъ.

«А, ну ихъ!—съ досадою думалъ Левшинъ.—Тысячу рублей! Шутка сказать!»

Мысли невольно отвлеклись на игру. Левшинъ съ завистью вспомнилъ вчерашняго героя клуба—трактирщика Хохрикова, выигравшаго двѣ съ половиной тысячи за какой-нибудь часъ.

«Вотъ везетъ же нѣкоторымъ?! А мнѣ—никогда! Сколько времени играю и никогда больше сотни за вечеръ не выигрываю!»

Ему въ голову не приходило, что нѣкоторые, а въ томъ числѣ и Хохриковъ, выигрывали потому, что имѣли въ игрѣ выдержку, во время останавливались, во время уѣзжали изъ клуба домой.

«Нѣтъ, ужъ видно счастье особенное для игры должно быть... не иначе! А, можетъ, у Хохрикова талисманъ какой есть?»

И чѣмъ больше думалъ Левшинъ о Хохриковѣ, тѣмъ больше убѣждался, что трактирщикъ владѣетъ талисманомъ для игры. Припомнились Владимиру Аркадьевичу достовѣрные слухи, когда кусокъ веревки отъ повѣшеннаго, или платокъ, смоченный въ крови застрѣливаго, или лапка мыши, пойманной въ алтарѣ,—доставляли обладателямъ этихъ талисмановъ колоссальное счастье въ игрѣ.

«Гдѣ-бы достать такой талисманъ?—съ тоской думалъ Левшинъ.—Поигралъ-бы только недѣлю или двѣ... наигралъ-бы десятокъ тысячъ... бросилъ-бы навсегда игру и занялся-бы торговлей!»

Въ кабинетъ вошла Анна Власьева въ темномъ кашемировомъ платьѣ. Вяло посмотрѣла на мужа и сѣла на кончикъ дивана.

— У обѣдни была...—сказала она.—Хорошо поють у Зосима и Савватія! А ты что же чай-то пить не идешь?—вдругъ спросила она молчавшаго мужа.

Тотъ выдержалъ паузу. Вздохнулъ.

— Сейчасъ иду!

Помялся и спросилъ, тупо глядя въ окно:

— Много у насъ... въ кассѣ-то... денегъ?

Анна Власьева потупилась.

— Денегъ-то?.. Да наберется съ сотню!

— Только-то?

Левшинъ обернулся къ женѣ и стоялъ передъ ней съ поднятыми бровями. Онъ былъ увѣренъ, что сотни-то двѣ у жены на платежи отложены...

Анна Власьева покраснѣла, подняла голову и, вдругъ, заговорила быстро, съ ненавистью глядя на мужа:

— А откуда имъ быть больше-то?! Ты развѣ что даешь?.. Какъ помпа сосешь изъ кассы-то, убивецъ ты этакій!—залилась она неожиданно слезами.—Не сегодня-завтра въ петлю надо лѣзть, съ собой рѣшать... вотъ какъ Мирошка-сапожникъ сдѣлалъ! Вотъ что!

Владимиръ Аркадьевичъ привыкъ къ слезамъ и упрекамъ жены и равнодушно къ нимъ относился. Но его удивила вѣсть о смерти сапожника, жившаго въ сосѣднемъ домѣ. Удивила тѣмъ болѣе, что только вчера вечеромъ онъ Мирошку видѣлъ на улицѣ.

— Мирошка, ты говоришь?.. Повѣсился?.. Да не можетъ этого быть!..

— Сегодня въ ночь!—отвѣтила, всхлипывая, жена.—Полиція-то тамъ и по сію пору сидитъ!

И вдругъ какая-то мысль, словно свалившаяся съ неба, несущая съ собой надежду, стрѣлой вонзилась въ мозгъ Левшина, и онъ лихорадочно сталъ одѣваться... Жена посмотрѣла сначала на него съ испугомъ, затѣмъ махнула рукой и вышла изъ кабинета. А Владимиръ Аркадьевичъ, накинувъ на плечи мѣховое пальто, побѣжалъ на сосѣдній дворъ, гдѣ, въ лачужкѣ, жилъ Мирошка.

Жена сказала правду: сапожникъ въ ночь повѣсился, и его тѣло отвезли въ часовню при участкѣ. Но у домовладѣльца Левшинъ нашель околоточнаго, сидѣвшаго за графинчикомъ водочки и закусками и писавшаго протоколь.

Ловко сунутая околоточному трешница сдѣлала то, что черезъ пять минутъ въ карманѣ у Владимира Аркадьевича лежалъ кусокъ веревки, на которой повѣсился сапожникъ.

И съ этимъ талисманомъ Левшинъ не шель, а летѣлъ домой...

* * *

Въ клубъ Владимиръ Аркадьевичъ пріѣхалъ позднѣе, правильнс рассчитавъ, что нужно пробовать счастье только въ крупнои игрѣ. Онъ былъ весело и увѣренно настроенъ: въ карманѣ лежалъ «талисманъ», а въ бумажникѣ—четыре сотни рублей, нашедшіяся у Анны Власьевны, когда мужъ рассказалъ ей, какое счастье ему привалило.

— Смотри...—сказала жена,—отдаю послѣднее! Копила столько времени на послѣзавтрашній день!

За большимъ столомъ сидѣло человекъ пятнадцать, игравшихъ въ «желѣзку». Левшинъ выждалъ, когда одинъ изъ игроковъ «очистился», и сѣлъ на освободившееся мѣсто. Но понтировать не хотѣлъ, ожидая, когда можно будетъ заложить банкъ.

«Заложу всѣ четыреста!—думалъ Левшинъ, пока узкій лотокъ съ картами путешествовалъ по зеленому сукну.—Все равно: панъ, или пропалъ! И не буду снимать, пока не пройдетъ пять картъ! Не Богъ вѣсть сколько: пять картъ!.. Вонъ вчера у Хохрикова семь картъ

прошло, и зложилъ онъ всего двадцать рублей... А снялъ слишкомъ двѣ тысячи! Разъ у меня теперь такой талисманъ...—не пять... пятнадцать картъ пройти можетъ!»

Онъ рѣшилъ пропустить пять картъ, во-первыхъ, потому, что сегодня было пятое число, и, кромѣ того, послѣдняя цифра номера извозчика, на которомъ ѣхалъ въ клубъ Владимиръ Аркадьевичъ, была пятерка.

Лотокъ быстро двигался къ Левшину. На столѣ лежали груды кредитныхъ билетовъ и кучки золота... И все это ходило по всѣмъ направленіямъ стола, часто мѣняя хозяевъ.

Настала очередь Левшина.

— Четыреста!—крикнулъ онъ, кидая на столъ четыре сотенныхъ и придвигая къ себѣ лотокъ съ картами.—Двѣсти покрыто! Триста пятьдесятъ! Осталось пятьдесятъ!.. Все сдѣлано!..

Партнеръ открылъ шестерку. У Левшина набралась семерка.

— Восемьсотъ,—звучно кинулъ онъ и похлопалъ по деньгамъ.—Шестьсотъ! Покрыты всѣ восемьсотъ!..

Открылъ себѣ девятку. Образовалась уже тысяча шестьсотъ.

«Снять половину?.. Вѣдь, имѣю же право, какъ открывшій «дамбле»! Или оставить?.. Эхъ, куда ни шло!»

И торжественно, какъ колоколь въ праздничный день, заявилъ:

— Не снимаю! Идетъ одна тысяча шестьсотъ!

Побилъ и эту карту. Сердце вдругъ забилося такъ сильно, что казалось: вотъ-вотъ разорвется...

Въ банкѣ было три тысячи двѣсти...

Шла пятая карта. Могли быть шесть тысячъ четыреста—и радость семейная, и чистая, безъ долговъ, торговля! Прошла-бы только пятая карта!..

— Даю!..

Себѣ купилъ пятерку. Партнеръ остался «на своихъ».

«Что дѣлать?—плыли въ мозгу Левшина хаотическія, полная ужаса и надежды мысли.—Остаться на своихъ? Прикупить?.. Ну, была не была: прикуплю!»

Прикупилъ. И дьяволомъ съ пятью глазами глянула на Владимира Аркадьевича прикупленная пятерка...

Онъ слышалъ, будто сквозь сонъ, какъ кто-то торжественно крикнулъ:

— Жирь!

Видѣлъ чьи-то крючковатые пальцы, потянувшіеся за деньгами, его деньгами. Шатаясь, вышелъ изъ клуба, нанялъ извозчика и долго ѣхалъ къ своей Серпуховской заставѣ...

Мелкій, противный снѣгъ падалъ съ мохнатого, темнаго неба... И, падая пухомъ на щеки Владимира Аркадьевича, смѣшивался съ жуткими, обидными слезами...

Сергій Гаринъ.



Кн. С. Н. ТРУБЕЦКОЙ.

Къ 10-лѣтію со дня смерти.

ДЕСЯТЬ ЛѢТЪ НАЗАДЪ.

Очеркъ Вл. Новоселова.

Переносишься воспоминаніями къ этой недавней порѣ, когда родная страна послѣ долгаго застоя ощутила приливъ могучихъ силъ, и невольно вспоминается Тютчевъ: «Еще въ поляхъ бѣлѣтъ снѣгъ, а воды ужъ весной шумять, бѣгутъ и будятъ сонный берегъ, бѣгутъ и блещутъ и гласятъ.—Онѣ гласятъ во всѣ концы: Весна идетъ! Весна идетъ! Мы молодой весны гонцы! Она насъ выслала впередъ!». Этотъ бодрящій, радостный тютчевскій стихъ даетъ чувствовать всю полноту вешней радости, трепетъ ея приближенія, ея первыя чары среди еще бѣлѣющихъ снѣговъ. Въ нашей русской жизни переживалась такая же весна: и снѣга еще бѣлѣли, и шумѣли волны очнувшейся жизни, и вешніе гонцы съ бодрящимъ призывомъ «впередъ» будили сонъ долгой зимы.

Десять лѣтъ назадъ русская жизнь встрѣтила первый день своей первой весны, и этотъ день положилъ непреходимую грань между прошлымъ и грядущимъ. Забвень—прошлому, благословеніе—грядущему. Вѣрилось и страстно хотѣлось вѣрить, что конецъ испытаніямъ уже близокъ, что яркое солнце, наконецъ, взойдетъ и освѣтитъ измученную, изстрадавшуюся родную землю. Золотыя мечты уже разсѣяны, но не развѣяны; уже не мечта закалила сознание, что во всей исторіи Россіи не было болѣе великихъ въ своей тревожно-суровой красотѣ страницъ, какія вписалъ на страницы исторіи 1905 годъ. Годъ сдвига и перелома, годъ, отмѣчающій начало новой эры—гражданственной, а не обывательской Россіи. Съ точки зрѣнія реалистовъ, онъ не оправдалъ ожиданій, не закончилъ собою циклъ изжитыхъ дней, но то, что мы переживаемъ теперь, десять лѣтъ спустя, все это—оттуда: только осознавшіе себя гражданами, только люди новой Россіи могли проявить то единодушіе въ цѣляхъ и достиженіяхъ, какія проявила реально вся Россія, сливаясь въ одномъ подвигѣ не подвига ради, а во имя любви къ родинѣ; только раскрѣпощенная, общественная Россія могла создать планомѣрную, умѣлую организацию помощи жертвамъ войны и жертвамъ государства; только единеніе и взаимодѣйствіе всѣхъ общественныхъ силъ на аренѣ общей работы смогло достичь тѣхъ результатовъ, которые уже засвидѣтельствованы официальными документами; сознание долга передъ родиной въ дни ея испытаній и напастей—такое ясное свѣтлое сознание, выражающееся не въ порывѣ, а въ рядѣ длительного подвига, уже свидѣтельствуетъ, что ростки общественныхъ и народныхъ силъ, привлеченныхъ къ дѣлу государственнаго строительства, и выросли и окрѣпли. Предъ нами,—«въ эти дни тревогъ и испытаній»,—отзвуки «тѣхъ дней». Союзъ земствъ и городовъ, бывший жупеломъ даже въ «тѣ дни», блестяще развернулъ свою дѣятельность въ дѣлѣ оказанія помощи. Кооперации—еще недавно только терпимыя—доказали блестяще на дѣлѣ, что можетъ выйти изъ ячейки, предоставленной мало-мальски свободному развитію. Народное представительство—залогъ 1905 года—жупель для однихъ, притча во языцѣхъ для другихъ, бѣльмо на глазу для третьихъ, на десятомъ году своего существованія—воскресло для дѣятельной жизни. Историческое засѣданіе въ іюль 1914 года явилось отзвукомъ всей Россіи, ибо Государственная Дума сумѣла заговорить языкомъ не партій, а сказать то, что за ней повторила вся Россія. Дума явилась ея эхомъ, и ея отряды встали впереди общественныхъ организацій, занявъ передовую позицію на позиціяхъ войны.

Десятилѣтній срокъ потребовался для закрѣпленія народнаго сознанія и новаго пути новой Россіи. Она выходитъ на него, освященная страданьями, спаянная кровью, прошедшая уже черезъ горнило великихъ испытаній.

На этот путь она направлена 17 октября, когда в своем манифесте государь выразил «непреклонную свою волю» и возложил на обязанность правительства «даровать населению незыблемы основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», установить, «как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей». Русскую великую хартию отделяет от английской великой хартии вольностей промежуток в шестьсот девяносто лет. Русь едва слагалась, исходя кровью от засилья татарских орд, когда англичане уже получили признание своих гражданских и политических прав. Но осуществление их в Англии явилось целыми годами искусства, борьбы и испытаний. Всюду и всегда старое, изжитое, но еще не пережитое в конце, ведет упорную борьбу с новым. Так было в Англии, гордой своей свободой, могущественной благодаря своей законности; так было и у нас.

Десять прожитых лет прошли даром: они научили многому, закрепили «нов».

Хранительница и оплот русского духа Москва—сердце России—чутко реагировала на борьбу нови со стариной. Недаром же старая Москва выслала от нови своих депутатов в первую Государственную Думу. Недаром же первая Дума, творя символ, раскрытый и понятый всей Россией, избрала от старейшей Москвы, первого среди равных, своего председателя, убитого годами искусства, сохранившего молодую душу, Муромцева, принявшего избрание с вѣрой, что «великое дело налагает на избранных великий подвиг», «великий труд». Но нам теперь приходится уже поминать словом любви и признательности и первого вѣстника русской весны, кн. С. Н. Трубецкого, и первого русского парламентарного борца. Десять лет уже прошло со дня смерти Трубецкого, шестой год наступает со дня кончины Муромцева, и девятилетние итоги подводить деятельность русского народного представительства, самая идея которого в продолжение целого века была только мечтой. 17 октября 1905 года был днем первым торжества мечты над побѣдоносной действительностью. Правительство, наконец, признало, что корни русских волнений и нестроительства—«в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами жизни». «Россия пережила форму существующего строя». Это признание, сдѣланное от лица правительственной власти, характерно тем, что именно за этот пережиток формы то же самое правительство вело огненную борьбу, принимая конституционные стремления за революционную крамолу. Обвинное «новым духом» правительство, в лице графа Витте, во главу угла уже ставило прямоту и искренность в утверждении на всех попранных даремых населению благ гражданской свободы и установление гарантий сей свобод». Но блага и гарантии, дарованные населению, оказались не проведенными в жизнь. Шлюзы и плотины, преграждавшие вольный бѣг проснувшейся жизни, были не открыты, а лишь временно проткнуты, и «новые водители жизни» уже придумывали иные, болѣе солидные средства для заграждения всплывшейся рѣки—жизни народа. Наступало «успокоение», но с каждым днем рѣче и характернѣе выявляла свой истинный лик новая Россия,—Россия грядущая. И теперь в ужасе военной непогоды, на нее, сильную духом и вѣрой, закаленную и испытанную, смотреть весь мир. Это—она на своих плечах вынесла все тягости, это—она обрѣтает в борьбѣ с засильем право на свою свободу и изумляет мир своей героической доблестью. Предки научили ее умирать героически, но она уже научилась не только умирать, но и строить жизнь по-человѣчески. Символ нѣмецкого засилья для нея не слова, но тайна раскрытая, постигнутая, на своих плечах выношенная. Десять лет нового пути научили многому, десять лет не прошли безслѣдно при всех невозможных условиях: засилье крепко до тех пор, пока народ блуждает без понятия о правѣ, «как в подземной тюрьмѣ без свѣчи». Как-никак, а убогая копеечная свѣчка знания за эти десять лет зажглась даже там, гдѣ, по исконному обычаю, никакого свѣта не полагалось, а была кромѣшная мгла.

Медленно, туго, но вѣрно, всходят сѣмена знания, но быстро и дружно растут всходы новой полосы. За десять истекших лет Россию уже не узнать.

Вл. Новоселовъ.

Совпаденіе.

Очеркъ Н. Дмитріева.

Историческій въ полномъ смыслѣ 1915 годъ является замѣчательнымъ и по своимъ воспоминаніямъ и юбилейнымъ отмѣткамъ. Въ то время, какъ мы только лишь перешагнули за грань перваго десятилѣтія новой русской жизни, обратились отъ политическаго небытія къ осознанному бытію, наша союзница Англія уже считаетъ семь вѣковъ отъ начала строительства своей гражданственности, основаннаго на свободномъ творчествѣ народныхъ массъ, привлеченныхъ къ управленію страной. Изъ глубины семи вѣковъ, изъ сѣдой старины средневѣковья глядитъ на насъ первооснова англійской свободы, ея «великая хартія вольностей», данная королемъ Іоанноу Безземельнымъ и скрѣпленная на историческомъ «лугу Рунимедъ, между Виндзоромъ и Стейнсомъ», «въ пятнадцатый день іюня» 1215 года.

Великая хартія—первый документъ англійской конституціи, до сихъ поръ не имѣющей особаго кодекса, но основанной на совокупности законовъ, изданныхъ въ различныя времена, на постановленіяхъ парламента, судебныхъ мѣстъ и обычаевъ. Великая хартія устанавливала въ эпоху религиозныхъ гоненій въ Европѣ неизблемо свободу церкви и гласила, что никакія подати не могутъ быть налагаемы безъ общаго совѣта королевства. Въ этотъ совѣтъ, ограничивавшій самодержавную власть короля, собирались, по его призыву, англійская знать и чиновники. Онъ не былъ еще выборнымъ совѣтомъ отъ лица всего населенія, стоявшего далеко отъ участія въ государственныхъ дѣлахъ, но великая хартія уже опредѣляла отношеніе государства ко всѣмъ свободнымъ людямъ и ихъ права, ставшія семьсотъ лѣтъ назадъ достояніемъ каждаго англичанина.

Изъ глубины вѣковъ до нашихъ дней ненарушимо дошло то, чѣмъ гордъ каждый англичанинъ: уваженіе къ праву личности. Одинъ изъ параграфовъ хартіи уже гласилъ: «Ни одинъ свободный человѣкъ не можетъ быть задержанъ, заключенъ, лишенъ имущества, поставленъ внѣ закона, изгнанъ или утѣсненъ какимъ бы то ни было образомъ» «иначе, какъ по суду равныхъ ему и по закону страны». Свобода личности, провозглашенная въ эпоху полнаго подавленія личности, явилась базисомъ всякихъ свободъ. Она обезпечила англійскому народу свободу собраний, слова, вѣры и мысли. На ея фундаментѣ выросло то величественное и колоссальное зданіе, которое именуется свободной, парламентарной Англіей, смотрящей бодро и радостно изъ тьмы прошлыхъ вѣковъ въ даль будущаго, озареннаго солнцемъ свободы. Первая хартія вольностей уже заявляла, чтобы всѣ англійскіе люди держали вольности, права и льготы въ добромъ порядкѣ и мирно, свободно и спокойно, полно и ненарушимо, при всѣхъ обстоятельствахъ, и во всѣхъ мѣстахъ, на вѣчныя времена». На стражу этой свободы и выступила Англія, сначала въ лицѣ представителей высшихъ и свободныхъ классовъ, а затѣмъ всей народной массой. Сохраненіе идеи вольностей и развитіе своихъ правъ—таковъ былъ долгій, многовѣковый путь англійскаго народа, ранѣе всѣхъ европейскихъ народовъ приобщившагося къ благамъ культурной работы. Созванный шесть съ половиной вѣковъ назадъ, парламентъ, даже отдаленно, не напоминалъ теперешній англійскій парламентъ—высшую законодательную власть страны, для котораго нѣтъ никакихъ ограниченій въ его свободныхъ и независимыхъ рѣшеніяхъ; не парламенту диктуются какіе-либо постановленія и законы, но только парламентъ диктуетъ и постановляетъ ихъ, ибо онъ есть голосъ всего народа, его верховной совѣсти и мысли. Власть англійскаго парламента безконтрольна и неограничена, ибо эта власть—власть народа. Шестьсотъ пятьдесятъ лѣтъ, отдѣляющихъ открытіе перваго англійскаго парламента отъ нашихъ дней, эта власть принадлежала не всему англійскому народу, а только избраннымъ представителямъ отъ избранной части титулованнаго и зажиточнаго населенія. Массы стояли далеко отъ него. Онѣ были только свидѣтельницами, но не участницами борьбы, происходившей около парламента и въ самомъ парламентѣ между старымъ и новымъ началомъ,—поединка между засильемъ и правомъ. Принципы свободы, провозглашенные великой хартіей для «свободныхъ людей» королевства, находились еще въ рѣзкомъ противорѣчій съ практикой установившихся традицій. Упомянутіе о «свободныхъ людяхъ» само по себѣ указывало на существованіе другой категоріи—рабовъ, на дѣленіе населенія на бѣлую и черную кость. Такъ и было на самомъ дѣлѣ. Современная общественная совѣсть не находила источника возмущенія въ этомъ дѣленіи, но «свободные люди», привлеченные къ участію въ управленіи страной, оказались чутки къ умаленію своихъ

правъ и вольностей, къ несоотвѣтствію принципъ вольности съ принципами дѣйствительности. На этой почвѣ и возникла знаменитая петиція о правѣ, подписанная духовными и свѣтскими лордами и общинами. Петиція, обращенная «къ пресвѣтлому королевскому величеству», обращала вниманіе на нарушеніе основъ великой хартіи и законовъ парламента въ ущербъ народу. И, какъ гласитъ историческій документъ, «по прочтеніи настоящей петиціи и по полномъ уясненіи ея содержанія государемъ-королемъ, былъ данъ въ полномъ собраніи парламента такой отвѣтъ: «Да будетъ сдѣлано по сему желанію».

Личная свобода—основа всѣхъ свободъ, вытекающихъ изъ нея, какъ слѣдствіе изъ причины, несмотря на хартію и подтвержденіе парламента, все еще была обезпечена. Никто не могъ быть задержанъ и заключенъ въ тюрьму безъ суда, но, по приказу королевскихъ чиновниковъ, люди схватывались и сажались въ тюрьмы. Существовало торжественное обѣщаніе уважать личную свободу, но не было еще закона. Англійскій парламента обезпечилъ личную свободу гражданъ изданіемъ знаменитаго закона о «Habeas corpus», т.-е. закона о томъ, что каждое лицо, узнавшее о незаконномъ задержаніи кого-либо, имѣетъ право предьявить тюремщику указъ, согласно которому тюремщикъ немедленно обязанъ представить задержаннаго суду, и судъ присяжныхъ немедленно же обязанъ разобрать дѣло.

Объявленная еще въ концѣ XVII вѣка декларация правъ окончательно утверждала верховную власть парламента тѣмъ, что никакой законъ не имѣетъ силы, если онъ не получилъ санкціи парламента. И въ Англии, дѣйствительно, нѣтъ такого закона, который-бы былъ изданъ въ другомъ порядкѣ, помимо парламента, ибо даже такое постановленіе, какъ постановленіе о таксѣ извозчиковъ, для того, чтобы получить обязательную силу, должно пройти черезъ парламента. Отмѣна закона можетъ быть также сдѣлана только однимъ парламентомъ. Вся полнота законодательной власти принадлежитъ парламенту—высшая исполнительная власть принадлежитъ королю. Король, ограниченный закономъ (парламентомъ), не подлежитъ отвѣтственности. Король безотвѣтственъ, личность его священна и неприкосновенна, онъ не можетъ быть неправъ. Нарушеніе законовъ со стороны короля истолковывается, какъ нарушеніе закона королевскими совѣтниками, которые и привлекаются къ законной отвѣтственности. Ссылка на королевское повелѣніе не принимается. Такимъ образомъ королевскія повелѣнія, противорѣчащія рѣшеніямъ парламента, дѣлаются не дѣйствительными, и за нихъ отвѣчаютъ министры-совѣтники, выбираемые королемъ, но отвѣтственные передъ парламентомъ. Англійскій парламента состоитъ изъ двухъ палатъ (верхней и нижней), и для того, чтобы законъ получилъ парламентское утвержденіе, необходимо, чтобы онъ былъ принятъ обѣими палатами и утвержденъ королемъ. При этомъ установленъ обычай—священная традиція въ Англии,—что законъ, принятый обѣими палатами, утверждается и королемъ. Случаевъ расхожденія въ англійскомъ парламентѣ за его долгіе годы жизни не было, что всего характернѣе—это то, что писаннаго закона, конституціи въ Великобританіи не существуетъ. Новый законъ, противорѣчащій старому, тѣмъ самымъ отмѣняетъ прежній. Великобританія не знаетъ на примѣръ, особыхъ законовъ о печати, о собраніяхъ, о свободахъ религіи и совѣсти. Всѣ они вытекаютъ изъ общаго закона о свободахъ личности. Законъ не знаетъ ихъ ограниченій; онъ даже не упоминаетъ о нихъ, ибо они только слѣдствія общей причины—свободы гражданъ. Законъ не контролеръ этой свободы, но онъ является ея стражемъ. Въ случаѣ лишь нарушенія этой свободы или чьихъ-либо правъ выступаетъ законъ на охрану ихъ. Такъ, въ Англии, засѣданіе парламента по старому закону, не отмѣненному, но не примѣнявшемуся на практикѣ, засѣданія парламента происходятъ не публично, но такъ какъ никто изъ членовъ парламента не заявляетъ протеста, то публика допускается безпрепятственно. Но, когда однажды въ парламента былъ заявленъ протестъ со ссылкой на старый законъ, председатель немедленно распорядился очистить залъ отъ публики. Законъ, каковъ онъ ни на есть,—законъ. На этомъ уваженіи законности отъ высшихъ до низшихъ прочно покоится могущественное зданіе государственной Великобританіи. На равенствѣ всѣхъ предъ этимъ закономъ спаяны въ одно цѣлое, разбросанныя по всему свѣту, Великобританскія владѣнія. Флагъ Великобританіи есть флагъ свободы. Одинъ и тотъ же флагъ во всѣхъ концахъ міра. Недаромъ же изъ глубины семи вѣковъ звучать въ Англии слова о вольности и правѣ. Медленно, упорно, въ продолженіе вѣковъ, поколѣнія за поколѣніями претворяли эти слова въ дѣло, сѣя то, что теперь такъ пышно пожинаетъ современная Великобританія, гордая своимъ правомъ, сильная своей свободой, процвѣтающая благодаря своему мудруму вѣковому строительству.

Н. Дмитріевъ.



СОДЕРЖАНІЕ.

Выпускъ шестой.

| | Стр. |
|--|------|
| Что красота? Стихотвореніе И. А. Гриневской | 185 |
| Сумерки. Стихотвореніе Ал. Лопатина | 186 |
| Лунный свѣтъ. Разказъ А. Серафимовича. | 187 |
| Загрустила семья бѣлоснѣжныхъ березъ... Стих. П. Гаврилова-Лебедева. | 195 |
| Симочка. Разказъ А. И. Свирскаго | 196 |
| На склонахъ дню. Стих. Якова Година | 204 |
| Игрокъ. Разказъ Сергѣя Гарина | 205 |
| Десять лѣтъ назадъ. Очеркъ Вл. Новоселова | 210 |
| Совпаденіе. Очеркъ Н. Дмитріева | 212 |

КАРТИНЫ: 1. Полевой ручей. Картина въ краскахъ Софіи Бенке. 2. Христосъ Воскресе! Автотипія съ картины Циркеля 3. Грезы. Автотипія съ картины Коркоса.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

При этомъ № рассылаются всѣмъ иногороднимъ и городскимъ подписчикамъ: 1. СОЛНЦЕ ВЗОШЛО! Большая стѣнная картина въ краскахъ итальянскаго художника Герцони. 2. ДѢВУШКА СЪ ГОЛУБЯМИ. Гелиографюра художника Шапленъ.

Къ свѣдѣнію Гг. подписчиковъ.

За перемѣну адреса взимается 30 коп. почтовыми марками и необходимо прилагать свой прежній адресъ съ бандероли, безъ чего перемѣна невозможна.

Необходимо прилагать печатный адресъ при всѣхъ обращеніяхъ въ редакцію.

Лицамъ, пользующимся разсрочкой и не уплатившимъ денегъ своевременно, высылка журнала немедленно прекращается.

Заявленія о неполученіи какого-либо № журнала передаются въ почтамтъ для разслѣдованія и должны быть высланы не позже полученія слѣдующаго за нимъ очереднаго №. Неаккуратная доставка журнала, въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ учрежденій, должна быть разслѣдована самими подписчиками.

Редакторъ-издатель Н. В. Корецкій.

226131/581
1915 г.

Продолжается подписка на 1915 г.
на двухнедельный,

10-й годъ
изданія

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЬ
съ картинами въ краскахъ

ПРОБУЖДЕНІЕ

Гг. подписчики получаютъ въ теченіе 1915 года:

24 РОСКОШНЫХЪ ВЫПУСКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО И НАУЧНАГО ЖУРНАЛА „ПРОБУЖДЕНІЕ“.

50 ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ КАРТИНЪ: въ краскахъ, на паспарту, фототипіи, портреты и друг.

12 КНИГЪ, ВЪ 3-ХЪ ПЕРЕПЛЕТАХЪ СЪ ЗОЛОТЫМЪ ТИСНЕНИЕМЪ, ЮБИЛЕЙНАГО ИЗДАНІЯ СОЧИНЕНІЙ (по случаю 50-лѣтія со дня смерти) **М. И. МИХАЙЛОВА.**
Книги романовъ, рассказовъ, стихотвореній и друг.

ДВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ УКРАШЕНІЯ ГОСТИНОЙ:

1. **АТЛАСНЫЙ ГОБЕЛЕНЪ**
въ стилѣ Людовика XVI-го.
Картина на атласѣ Буше.

2. **ПОСЛѢ ТАНЦА.**
Изящный стѣнной горельефъ
художника Годварда.

Два украшенія столовой комнаты:

ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ
„Дикія утки“.

ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ
„Морскіе окуни“.

Художник: Ел. Магюръ и Ф. Зрая. Красивая имитация рельефныхъ бронзовъ. фигуръ.

ИЗЯЩНЫЯ УКРАШЕНІЯ КАБИНЕТА:

Дѣвушка съ голубями.
ГЕЛЮГРАВЮРА СЪ КАРТИНЫ
художника Ш. Шаппель.
Размѣръ 47×68 сант.

Стильный японскій альбомъ
съ картинами японскихъ художниковъ и рельефнымъ тиснениемъ золотыхъ украшеній.

Роскошная стѣнная картина въ краскахъ

знаменитаго
итальян. худож.
ГЕРЦОНИ.

СОЛНЦЕ ВЗОШЛО!

работы пост.
Дв. Е. И. Велич.
Голикѣ и Вильб.

Размѣръ 62×80 сант.

Въ ознаменованіе 10-лѣтія „Пробужденія“ будетъ выдана въ концѣ года
ЗНАМЕНИТАЯ АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВЪ КРАСКАХЪ

извѣстнаго
художника
Ф. Лефлера.

ПОДЪ ШОПОТЬ ГРЕЗЪ

Размѣръ
картины
63×88 с.

Подписная цѣна: на первое полугодіе 4 руб.; на второе полугодіе 5 руб.; на 3 мѣсяца 2 руб.;
на три мѣсяца 2 р. 50 коп. На меньшіе сроки подписка не принимается. За границу 12 руб.

Редакція журн. „ПРОБУЖДЕНІЕ“, Петроградъ, Невскій, 114.

Редакторъ-Издатель Н. В. КОРЕЦКІЙ.

Цѣна отдѣльнаго № журнала 40 коп.